

PA1594857



ИВАН ПОЛУЯНОВ

ПЕВУЧИЙ МОСТИК



Издательство
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
Москва 1966



Иван Талужанов

ПЕВУЧИЙ МОСТИК

РАССКАЗЫ

Рисунки Т. Никольского

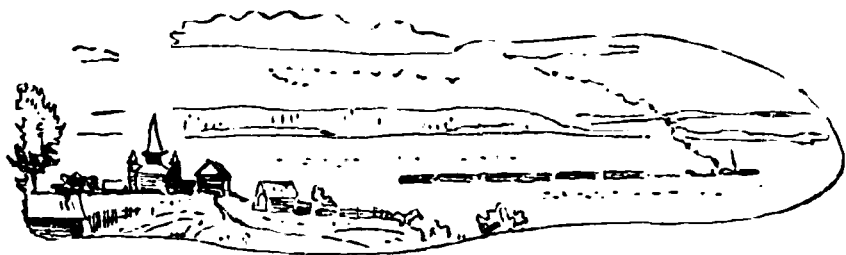
Дорожному
Виктору Васильевичу
на добрую память

И. Талужанов

Май 1966 г.

21. V. 66. Велосад, 5:1.





В ПОИСКАХ ЧУДЕС

В мире русской природы столько чудес, столько больших и маленьких тайн, что рассказы о них составляют нескончаемую книгу, которую вот уже много-много лет пишут писатели России.

Знанием северной природы, её жизни отличается автор этой книги. Иван Полуянов не только хорошо знает природу Севера, он умеет и рассказать о ней. Живёт Полуянов в Вологде. Он и родился в Вологодской области, в глухой деревушке из нескольких изб, среди зелёного моря лесов. Совсем маленьким мальчишкой он убегал один в лес, этот огромный хвойный мир, который манил к себе и вселял сладкий ужас, когда под верховым ветром шумели деревья, а где-нибудь возле ручья попадались медвежьи следы.

Дед писателя, старый лесовик, научил его раскладывать костры, по охотничьим приметам узнавать места, где водится дичь. Не меньше деда знала о потаённой лесной жизни и бабушка. Но ещё большей мастерицей она была сказывать сказки. Да и сама не прочь была придумывать фантастические истории о том, будто видела однажды русалку, как та пела и плясала под луной тёплой летней ночью...

Словом, это была обычная северная крестьянская семья.

А крестьянские дети рано получают самостоятельность. И вот, уже будучи чуточку постарше, Иван Полуянов вместе со своим братом пускается в самостоятельные путешествия по Северной Двине и Сухоне то на пароходе, то на пло-

ту. Родители, работавшие в это время на лесной бирже в Архангельске, не очень волновались, отпуская своих малолетних детей за многие сотни километров в деревню без провожатых. А ребяташки ведут дневники, делают зарисовки.

Собирался Иван Полуянов стать художником, чтобы запечатлеть красоту и неповторимость родного края, но жизнь повернула дело по-своему.

Началась война. Работал в колхозе. А потом и сам пошёл на фронт. Демобилизовавшись из армии в 1946 году, Иван Полуянов заочно окончил среднюю школу, потом педагогический институт в Архангельске. В эти же годы стал печататься, первую книгу — «На лесном кордоне» — опубликовал в 1955 году. Призвание Полуянова определилось. С тех пор в Архангельске и Вологде вышло около десяти его книг. С этой книжкой вы побываете в лесу и в поле, на реках и озёрах, в глухомани на концертах пернатых солистов, на рыбалке. Вы переживёте немало приключений и узнаете много такого, чего раньше не знали.

Известно ли вам, например, что некоторые птички дают своим птенцам попробовать на вкус... землю? А каков склад у зверька бурундука? А зонтик у фиалки видели?

Но не будем предварять вопросами знакомство с этой книгой, лучше последуем за Иваном Полуяновым в мир северной природы искать чудеса.

«Нет ничего для меня более волнующего в лесу, чем следы человека», — признаётся автор книги. И действительно, в рассказах Полуянова много птичьих песен, красок и запахов леса и родных полей, но всё это одухотворено присутствием человека, который по-солдатски верно любит нашу землю. А любить по-солдатски — значит не только любоваться красотами природы, но и стоять на страже земных чудес.

Ал. Михайлов



ВЕСНУШКИ

У ольхи на ветках коричневые круглые шишечки. Это кладовые. В них дерево хранит свои семена. Ольха до поры до времени не раскроет кладовых: ветер бьёт шишечки, выдувает семена и ничего не добьётся. Мороз стучит не достучится.

Поворотит солнце с зимы на весну, начнёт пригревать — тёплые лучи, как золотые ключики, отомкнут кладовые.

Семена мелкие, рыжеватые, и снег под ольхой сплошь в веснушках.



РЫЖИЙ-ПОЛОСАТЫЙ

Левый склон оврага отлогий, зарос кустами, а правый — крут, обрывист, в оползнях и осыпях. По кромке сосны клонятся вершинами, заглядывают

ся вниз, на шумный поток, который то ворочает на дне оврага камни, то ныряет под толщу снега, навьюженного в теснину, и рокошет грозно и глухо.

На снегу вытаяла лисья дорожка. Она красная, дорожка: мало ли песка выносит на лапках лисица из своей норы!

Кроме лис, живут по оврагу в норах барсуки. Позапрошлым летом здесь встречали енотовидную собаку. Енот куда-то подевался, ушёл, наверно, в другие места, лисы же и барсуки в овраге постоянны. Под землёй у них целый городок. Берега оврага из сыпучего красного песка; копать в них норы легко.

У одной норы — ворох сырых листьев.

Что это такое? А, барсук постель сушит...

Вон лисьи следы на снегу пересечены отпечатками маленьких лапок. Это бурундук пробежал. К ручью напиться.

Зимой бурундук, подобно барсуку, земляной затворник. Спит себе на боку до весны.

Если у лисы красная от песка дорожка, то, значит, лисонька о логовище заботится, нору ремонтирует, где скоро выведет своё потомство.

Если по снегу бурундучишка пробежками занялся, стало быть, кончилась для него зимняя спячка. Он едва глаза продерёт, обязательно сходит напиться: истомился за зиму жаждой.

Продвигаясь вперёд, я глазами обшаривал валожник и кусты. По своим повадкам бурундук — зверёк презанятный. Я надеялся на встречу с ним. Он человека мало боится.

Да вот и он — лёгок на помине.

Я прислонился плечом к ёлке, сучья её укрыли меня с головой. Достал бинокль и навёл на зверька, хлопотавшего возле кучи хвороста. Бурундук ры-

жеват, с пятью чёткими полосами на спине. Белые пятна на пухлой круглой мордочке напоминают очки. Пальцы передних лап словно бы в маникюре: в песке коготки бурундучишки.

Под хвостом у него была нора. Он исчезал в ней с завидным проворством, чтобы через минуту появиться с забавно раздутыми щеками.

Бурундук запаслив. Его нора — настоящая кладовка. Чего-чего в ней нет — и семена трав, и корешки, и сушёные ягоды, и грибы! Всё разложено по кучкам, точно на складе; вместо перегородок — сухие листья.

Я застал бурундука за проверкой продовольственных запасов. Он выносил их из норы подсушить на ветерке и солнцепёке.

Он таскал поклажу во рту, оттого и щёки у него так раздуваются.

Покинув ёлку, я осторожно, на цыпочках приблизился. Бурундук как раз выскочил из-под хвоста.

О! У склада посторонний! Бурундук сел на задние лапки, вытянув хвост, и пронзительно засвистел.

— Ладно, ладно, ты! — усмехнулся я. — Обойдёмся без милиции, не свисти. Не ограблю!

Его пухлощёкая мордочка с выпученными чёрными глазёнками выражала крайний испуг.

И как примется бурундучок по своим щекам лапками барабанить! Лапки так и мелькали. С самым сокрушённым видом надавал он себе оплеух. Казалось, хотел этим сказать: «Как же я опростоволосился!.. Как я попался!»

Изо рта его брызнули пшеничные зёрна.

И пустился бурундучок наутёк — не ожидал от него такой прыти.

— Ах ты воришка! — опомнился я. — Держи его, полосатого!

Ведь он осенью зерно-то с колхозного поля украл, не иначе.

Держа хвостик торчком, бурундук стремглав пролетел по замшелой зелёной колодине и шмыгнул в кусты.

У валежины остались зёрна россыпью, кучка сушёной черёмухи и заплесневелый сморщенный опёнок...



ЛЕСНОЙ ТЕРЕМОМ

С краснотала, с серебристых «барашков», осыпались кожистые чехольчики. Теплынь, солнце во всё небо. Ручьи бежали по дорогам. Скворцы дрались, выгоняли воробьёв из домиков на берёзах.

Но неожиданно-негаданно «пришёл внук за дедушкой»: ударил зазимок. Снега подвалило «в сидячую собаку». Ручьи сковало льдом. Позабыв распри, воробьи и скворцы общими стайками ночевали на гумнах, умолкшие и притихшие.

Лишь овсянкам капризы погоды были нипочём. Выводили овсянки свои звенящие песни-коротыш-

ки, и студёный ветер шевелил жёлтые перья на их грудках. Колхозникам, которые возили к фермам остатки сена с лесных покосов, слышалось в напевах овсянок:

«Вези-вези-и... вези сено да не труси-и».

Где узка дорога, задевает возом о кусты, там и натрусит с возов сена. На радость зайцам! Любо ко-сым лунной ночью закусить ароматным зелёным сенцом, и обочины дороги вдоль и поперёк испятнаны их лапами.

Белели на шиповнике пушинки. Мягкие, мягче ваты. Линяют зайцы. И один себе гребешок нашёл: часты колючие заросли шиповника, пробежишься по ним и вычешешь линяющую шубку.

А холод-то! А снегу-то! Я посмотрел на белые «барашки» на вербе: не рано ли сбросили вы чехольчики, зимнюю свою одежду?

Был я на лыжах. Ходил, ходил и невесть как забрёл в крепь — непролазную чащобу. То пень лыжиной зацеплю, на валежину в сугробе наеду, то пухлая навесь с ели оборвётся, насыплет за ворот снега... Повернул обратно к дороге. И попался мне на глаза птичий домик. Дуплянка с тесовой кровлей.

В чаще — дуплянка? За столько километров от жилья?

Может, ребята принесли её сюда. Может, лесник — пусть поселятся с удобствами крылатые сторожа зелёного добра.

Глазок — отверстие дуплянки — был с бельмом. Высовывался клочок сивого мха. Я подумал: от птичьего гнезда осталось. Как вдруг мох кто-то вытолкнул наружу, он упал к подножию берёзки. Значит, дуплянка-то жилая.

Кто же в ней поселился?

Я, смеясь, спросил:

— Кто в терему, кто в высоком?

И палкой по берёзе — стук, стук.

Из птичьего домика опрометью выскочила... белка! Вот для меня неожиданность: птичий домик — и белка!

Качается она на ветке, сверкает на меня чёрными глазками и кричит:

«Цок-цок-цок!»

Ишь ты, сердится. Скажите на милость, какая недотрога!

Вид у неё этакой модницы: уши с кисточками, шубка пепельно-серая, на лапках по локоть красные перчатки.

Она умылась на моих глазах: не вовремя подняли с постели, порядочные белки среди дня отдыхают, но приличие и аккуратность прежде всего, и не смею же я неряхой предстать перед всем лесом. Да, умылась белка и коготками расчесала хвост. Потом ускакала: с берёзы прыг на ёлку, с еловой лапы, которая пружиной подкинула её, на другую ветку...

«А ты хитра, — подумал я. — Гнездо заняла что надо. Стены дуплянки прочные, толстые, крыша тесовая, в любой ливень не протечёт. Если в дверь холодит, то можно её мхом закупорить».

Долго стоял я под лесным теремом-теремком. Очевидно, сначала в нём жили те, для кого он был поставлен, — птички. Синицы, вернее всего. Они любят селиться по дуплам около болот.

А осенью сюда повадился летать дятел. Узок был ему леток — дверь в дупло: раздолбил клювом. Сейчас ещё заметно, где он долбил. Зимней порой дятел, возможно, не раз находил в дуплянке пристанище.

Ну, а белка? Она на всё готовенькое явилась. То и получается, что теремок в чаще круглый год не пустовал!



ШТУКАТУР

В лесу за гумнами брали глину: кому печь в избе подремонтировать, чтобы не коптила, не дымилась, а то на гумне молотильный ток выровнять... И мало ли ещё куда! Копали глину, и образовалась большая яма, которую весной, на утеху лягушкам, залило водой, как пруд.

Вязкий берег ямы был в бисере мелких птичьих следков. Кто тут набродил, наследил? Наверное, птичий тут водопой. Только подумал я так, вижу — села на иву синяя с белой грудкой птичка. Заметьте: не на ветку — на ствол ивы, будто дятел.

«Тюй-туй-туй!» — засвистела она. И побежала по стволу вниз головой.

Поползень — некому, кроме него, вниз головой по деревьям бегать. Дятлы, пищухи тоже древолазы по лесу первые, но так вот, вниз головой... Шалишь, не получается! Один поползень мастак бегать вниз головой по стволам.

Острое шило клюва у поползня занозисто вздёр-

нуто, чёрная полоска у глаз, будто насупленная бровь.

И юла же он, и пролаза! Моргнуть я не успел — поползень спустился на берег ямы, потыкал клювом туда-сюда, повертелся и — порх! — улизнул в лес.

А клюв у него при этом был забавно разинут...

Что он носит? Куда? Не лишне бы узнать.

Ничего, я выслежу...

Опять и опять наведывался юркий поползень на берег ямы. А летал он, как я проследил, к старой осине неподалёку. Облезла с неё кора, на голых сучьях не качались лиловые серёжки... Высоко на мёртвом дереве зияло отверстие дупла. Его затенял от солнца козырёк гриба-трутовика. Дупло пересекала трещина.

У этой трещины и хлопотал поползень.

Да он щель-то штукатурит, вон сколько глины наносил! Сам синенький, как в комбинезоне-спецовке, белая грудь будто фартуком прикрыта. Под крыльями на боках рыжинка — точь-в-точь глиной запачкано.

Неделю спустя я снова зашёл к старой осине. Ну да, поползень — штукатур! И какой мастер: мало того, что он щель начисто замазал, он и вход в дупло обработал. Было раньше широкое отверстие — хоть кулаком лезь, а стало ровненькое, как циркулем очерченное, и узкое. Поползня пропустит, кого другого — ни-ни!

— Хозяева дома? — крикнул я.

Из дупла высунулась остроносая головка, пискнула: «Цыть-цыть!» — и спряталась.

Вот так раз: я с новосельем пришёл поздравить, а на меня цыкают!

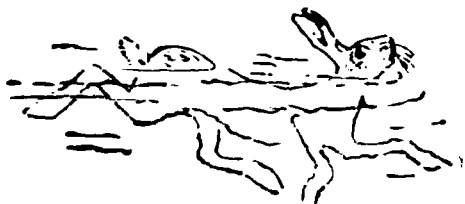
Заважничал поползень, что удобной квартирой

на лето обзавёлся. Высоко, не дует, раз щели заштукатурены, и гриб-трутовик — как крыша над крылечком. Жильё на зависть.

И то сказать: поползень сам его строил, глину в клювике таскал.

Как поработаешь, так и поживёшь.

Ай да поползень, ну и штукатур!



МАЗАЕВЫ ЗАТЕИ

Я приехал сюда с надеждой, что охота, когда утка валом валит в здешние низменные затопленные места, будет у меня удачной. Угодья нахвалил мне знакомый, Пётр Иваныч. Он бывал в них прошлой весной в половодье и, главное, порекомендовал, у кого найти лодку:

— Спроси Мазая, он устроит в лучшем виде.

Гм-гм... Дед Мазай? Мой знакомый, надо заметить, мастер на розыгрыши: проведёт — не дорого возьмёт.

— Ты, конечно, шутишь?

— Не-ет! — горячо отнекивался Пётр Иваныч. — Мазай — человек серьёзный и обстоятельный. Какие шутки? Ты привет ему передай. Он меня, поди, помнит. Челнок у него приличный. И увезёт он тебя, на хорошее место поставит и обратно привезёт. Да! У них там ведь и подсадные водятся... Уступят, я думаю. Мазай устроит!

Ничего больше Пётр Иваныч не сообщил —

встреча с ним была накоротке, — а в деревне к прохожим мне как-то неудобно было обратиться. Народ навстречу попадался молодой: пустишься в расспросы, ещё засмеют. Иди, скажут, в библиотеку — там Мазай, на книжной полке.

Наконец щуплому седенькому деду, чинившему сеть, распяленную на изгороди, я задал мучивший меня вопрос. Втайне загадывал: не он ли и есть Мазай?

— Ась? — Старичок оттопырил ладонью ухо.

— Мазая, говорю, где найти?

— А вона... — махнул дед сухой коричневой рукой. — На берегу. Где же ему быть-то, раз воскресенье? Видно, порыбалить собирается.

У приплёска перевёрнутая вверх килем лодка. Дымит над костерком чан со смолой. Рядом стоит парнишка лет четырнадцати. Лопушистые уши розово просвечивают. Фуфайка на нём с отцовского плеча, сапоги-бродни и кепка козырьком назад.

Придерживая чехол с ружьём, я перелез изгородь, спустился вниз.

— Скажи, пожалуйста, — спрашиваю, озираясь по сторонам, — где я могу видеть деда Мазая?

— Чо-о? — протянул парнишка и покраснел. — Деда?

— Ну да, Мазая.

— Гляди... на! — повернулся он ко мне боком и засвистел, сунув руки в карманы.

— Не отличаешься ты вежливостью! Где же этот Мазай, ответь толком.

— Чо-о? — Передний зуб у него выщерблен, парнишка шепелявит. — Сказано: я Мазай.

«Человек серьёзный и обстоятельный...» Бессовестно разыграл меня Пётр Иванович! Вместо серьёзной обстоятельности и седой бороды, к которым

я мысленно примеривался, передо мной сердитая курносая физиономия и уши лопухами. На минуту я даже растерялся.

Лодка, вижу, есть, однако: законопачена, осталось просмолить. О лодке, признаюсь, я всю дорогу думал: без лодки нет охоты весной на разливе. Что же до Мазая... Сплоховал я: полез сразу с прозвищем, обидел мальчишку. Гм, Мазай! Какой он Мазай, он ещё просто Мазаёнок. Стоит, губы надул.

Я предложил ему помощь: вдвоём мы лодку скорее просмолим.

— Чо-о? — У него вспыхнули уши. — Я сам не справлюсь?

Брови насуплены, широко расставленные глаза смотрят исподлобья — парнишка-то, видно, с характером.

Я взялся собирать ружьё.

— Чо-о? — проворчал Мазай всё ещё сердито. — Будем на месте, там расчехляй. Не видали мы ружей... как же!

Хотел я чаю вскипятить на угольях, Мазай не дал:

— Чо-о? Напахнет твой чаёк смолой, в рот не возьмёшь. Ступай в избу, самовар поставлю.

Без лишних слов он подхватил мой рюкзак на плечи.

Дома у Мазая никого не было. Батожок, всунутый в дверную ручку, заменял замок.

В избе с лавками вдоль стен пахло по-деревенски — печёным хлебом. Дремал на печи кот, сонно жужжала, билась о стекло муха. На окне стоял аквариум — стеклянная трёхлитровая банка из-под огурцов. От солнца её затеняла стопка учебников для седьмого класса. На песке в банке лежал пёстрый голец и шевелил плавничками.

— Предсказатель! — нашёл Мазай нужным мне объяснить.—Перед погодой, когда у рыбы клёв пропадает, голец в песок зарывается.

Пока самовар закипал, Мазай сбегал в хлев, отнёс корове пойло, я слышал, как задал овцам сена с повети.

Держался он хозяином, который знает, где что положено, где что взять. Выставил на стол из подпола кринку холодного молока, налил тарелку наваристой окуневой ухи:

— Ешь, будь гостем.

Передний угол в избе занимали фотографии в рамках под стеклом. Папахи времён первой мировой войны с кокардами, шлемы-будёновки, фронтовые пилотки со звёздами — солдаты всех войн века смотрели с фотокарточек, выцветших от времени. Смотрели на карту полушарий, висевшую на дощатой перегородке...

— Отдыхай, будь гостем, я пошёл,—сказал мне Мазай.— Подсадную я тебе найду, не заботься.

Довёрено парню просмолить рыбацью лодку — настоящее, взрослое дело доверено. И чего ради я буду вмешиваться? Пусть он сам! Малый он серьёзный, основательный, можно положиться...

Мы отчалили вечером. Мазай сидел на вёслах, грёб умело. За лодкой юлил привязанный на верёвку чёлн.

Скрылась деревня за кустами. Вода, вода... Небо да вода! Переступив берега, разлилась широко река, затопила поёмные луга и низины окрест на добрый десяток километров.

Вон по отражению белых облаков плавают лебеди. Чернеют стайки уток.

Вон пароход тянет баржу, расстилая дым. Шлёпает пароход плицами колёс, и отдалённый звук

этот словно бы тонет, смешиваясь с криками чаек, с жужжанием шмелей над цветущими ивами, с плеском гуляющей рыбы, которую мы вспугиваем, проплывая близ затопленных грив камыша.

Ширь вокруг. Раздолье.

А жизни... жизни-то!

Свищут, переговариваются по-своему кулички на крошечных островках, оставленных на возвышенностях водополью. Суетятся, острыми клювиками выуживают из смятой мокрой травы себе какую-то поживу.

Нанесло в укромный залив брёвен от сплава. Как в лесу, стучит на них дятел, сорит щепками.

Пахнет тиной, почками смородины, водой — и дышишь полной грудью, и отчего-то хорошо и грустно, и хочется говорить шёпотом.

Только что-то далеко увозит меня мой провожатый...

Я бросил на проплывающую мимо корягу рассеянный взгляд... и приподнялся. Лодка качнулась. Коряга была точно живая — столько на ней мышей! Застигло их наводнение, ищут спасение где придётся. Сидят мышки, свесили хвосты, мордочками поводят. Да и ласка с ними! Лютый мышинный враг — ласка, но спасаются от гибели вместе: породнила зверюшек общая беда.

То-то и кружат в вышине канюки-сарычи над водой, будто над полем. Обильную добычу даёт канюкам разлив.

Большая вода — беда многим обитателям приречных низинных мест. Что там мышки — гибнут и великаны лоси, застигнутые наводнением вра-сплох.

Наша утка, крякая, заворочалась в лукошке.

Хорош голос у подсадной: стороной пролетел селезень, а повернул на её призывное кряканье.

— Постой,— спохватился я.— Где ружьё?

— Я почём знаю? — буркнул мальчик с такой невозмутимостью, что я вспылил:

— Э-эх, Мазай! Ведь это ты нёс ружьё в лодку.

— Выходит, в сенах забыл. Чо, домой поплывём?

В лодке огромная корзина — наверно, под улов, сеть и большущий подсачник, оплетённый для прочности проволокой. Этим подсачником не то что язя или метровую щуку — акулу можно вытаскать.

Я поморщился:

— А-а... Езжай куда знаешь!

Утка, словно чтобы подразнить, крякала не устанно. Подманила к лодке другого селезня: пролетел на расстоянии верного выстрела. Что за охота у меня пропадает: сесть бы сейчас в кустиках, замаскироваться, выпустить уточку... А я мальчишке доверился, и кусай теперь локти!

С проплывшего мимо бревна Мазай снял ежа. Ёжик был утомлён, мокрый, иззябший и не сопротивлялся. Я его погладил. Он иголок не поднял — чуть жив, бедняжка.

Уж плыл мимо лодки. Мазай подцепил его веслом и бросил в корму. Я поджал ноги.

— А это не гадюка?

— Чо-о? Ужика я не знаю?

Я вздохнул:

— Ну-ну, собирай зоопарк!

Я-то принял его за серьёзного парня, а он — н-а тебе! — ёжиками забавляется. Ужей ловит! Мальчишка и есть мальчишка. Ружьё забыли... Это же ни в какие ворота не лезет!

И плывём мы как-то несообразно, всё по кустам и кустам. Сейчас скользит лодка прямо на островок, вот-вот сядем на мель.

— Табань... левым! — крикнул я. — Куда тебя несёт?

Вдруг с островка из седой поросли осоки кто-то булькнул в воду.

— Он! — истошно завопил Мазай, бросив вёсла. — Лови его! Подсачивай! Лови-и-и!

От неожиданности, от его воплей я едва не вывалился из лодки. Как у меня в руках очутился подсачник — убейте, не помню. Я действовал как в тумане. Что-то загрёб подсачником — маленькое, со щенка. Но, когда вытащил из воды, оказалось: в подсачнике... заяц! Шерсть слиплась, верещит ко-сой, будто с него заживо шкурку спускают.

Мазай ухватил его за уши, бросил в корзину и захлопнул крышку. В темноте зайчишка поскрёбся и затих.

— Ну, знаешь... — У меня руки от волнения дрожали. — Знаешь, ты точно Мазай!

— Чо-о? — протянул он усмехнувшись. — Под-думаешь!

Оттопырил губу и дунул, точно комара согнал с носа.

— Да я уже пятого!

Я покосился на корзину:

— Пятого? То-то меня по кустам возишь...

— А чо? — Парнишка не выдержал и улыбнулся, но застеснялся, что зуб у него выщерблен. Наклонил низко голову, выставил широкий упрямый лоб. — Душа о нём болела... о пятом-то! Давно я его заприметил, когда остров ещё большой был. Никак дурачок в руки не давался: прижму его, нет выхода — в воду кидается. Утонет, думаю. Бросил ло-

вить. А сегодня места я себе не находил: река взыграла, топит, а у меня и лодка на берегу, ремонтом занялся.

— И я некстати, как снег тебе на голову!

— Твоё дело такое: ты ведь не знал... А опоздай мы самую малость — пропал бы зайчишка...— Чо-о! — воскликнул он, всплеснув руками.— Да ружьё-то вон где — под сеткой. На нас глядит, а мы ноль вниманья!

Не сказал бы, что ружьё на нас «глядело»: сетью было укрыто добросовестно.

Я понимающе мигнул:

— А не загрести ли нам ещё зайчишку? Ты куда их выпускаешь... а, Мазай?

Он хитровато пощурился:

— Выпускаю, само собой. За деревней. А зовут-то меня Толей... В прошлую водополь был у нас один приезжий. Мы с ним зараз троих зайчишек-то загребли, как ты говоришь. Весёлый дядька, всё у него присказки-прибауточки к каждому слову! То Мазаем, то «потомком солдат» он меня звал... Чудной такой!

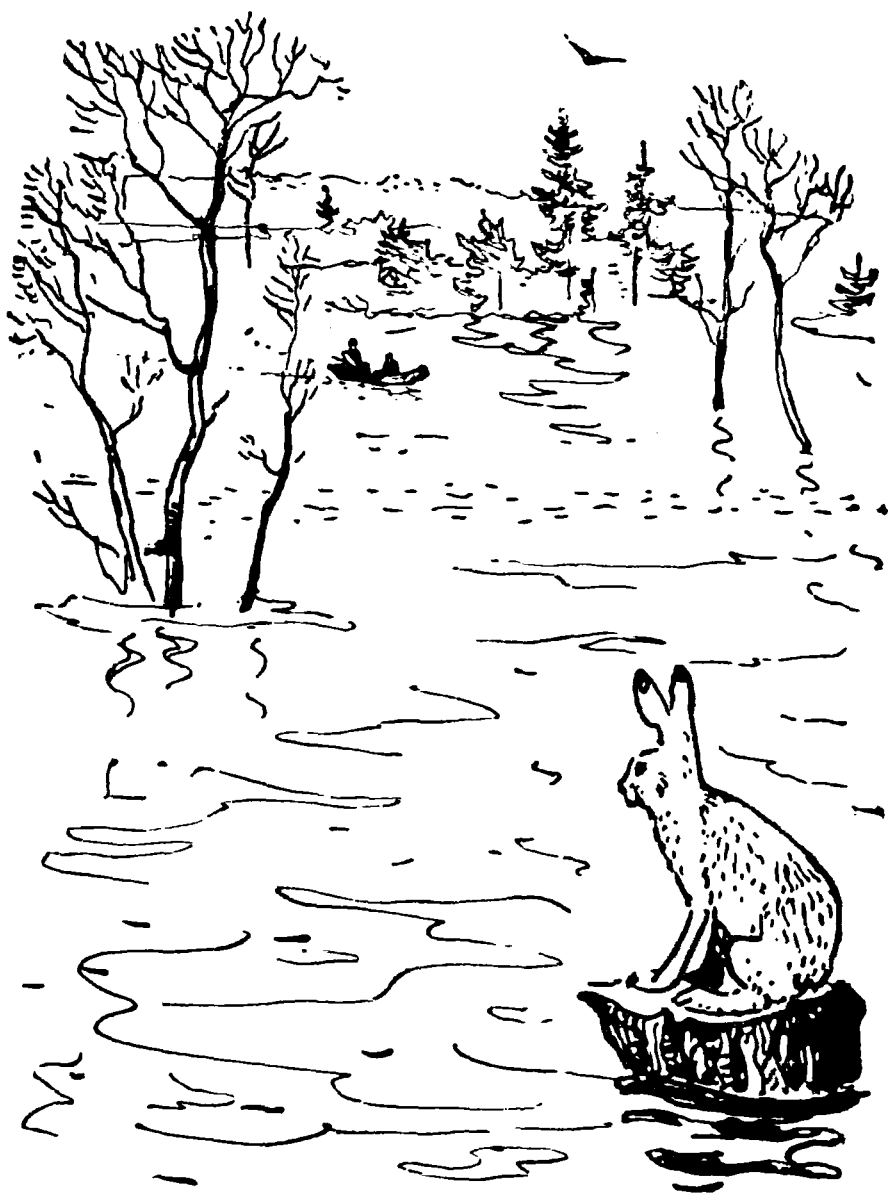
— Это не Пётр ли Иваныч?

— Эге,— кивнул Толя.— Он самый. Шуточки-прибауточки к каждому слову...— Потом, краснея до ушей, стесняясь, Толя пробормотал:— На вечерку, на утиный пролёт, ты в самый раз успеешь, не имей заботы.

Я отмахнулся:

— А-а... разве в вечерке дело!

— Не скажи,— запротестовал Толя.— Зачем было и ехать к нам в такую даль? Охота — это ведь...— Он не нашёл слов и вздохнул.— Вот кончу школу, на лесничего выучусь, чтобы всю жизнь с ружьём. Леса буду садить, зверей разводить



Большая вода — большая беда...

всяких... А то непорядок! На карте наши места сплошь зелёным закрашены. Тайга, дескать. А у нас и поля, и луга заливные, и покосы, зато лесов чуть. И те немудрящие: ивняк да осинник. Сосновые боры и ельники почти напрочь сведены топором. А по-моему, поле так уж поле, чтоб золотое было от колосьев! Лес так лес: дерево к дереву. Глянул на вершину — и шапка с головы упала!

Плеснули вёсла. Заскрипели уключины.

В глубоком раздумье сидел я в корме. Ах, разве в вечерке дело!.. Всё в том, что под килем лодки поёт ласковая вода и на песчаной отмели трубят журавли. Всё в том, что везёт мне на хорошие встречи и узнал ещё одного хорошего человека, на которого можно положиться, — Толю Мазая, потомка солдат всех войн века. И он уже солдат... да, да, есть в нём что-то солдатское, верное. Потому что Родина — это огромно. Родина — в перекличке гудков на реке, в зелёном разливе полей, в шуме окутанных цементной пыльюстроек, в заводских несчётных трубах, несчётных городах, сёлах... Но не вся. Не вся! Потому что Родина — это и небо над головой, и родничок, из которого ты напился, и крик журавля на заре, и следы зверей и птиц, синеющие на снегу... И всё это надо одинаково любить и беречь — открытой душой и по-солдатски верно.



ПОД ЗОНТИКОМ

Дождь собирался с утра и наконец собрался. Он загнал меня под ёлку. Густы, мохнаты её хвойные сучья, капля не капнет. Ближние берёзы полощет дождём, натеки на тропу лужицы. А мне хоть бы что: сижу под ёлкой, как в шатре. Тепло и сухо.

Осматриваюсь: э, да я не один дождь переживаю — за компанию с фиалками. Я — в хвойном шатре, они — под зонтиками. И что у них за зонтики: нарочно выдумывай — не придумаешь.

У фиалок ползучие корневища, круглые листья. Синие и лиловые цветы на тонких шейках. Шейки тонкие-тонкие и любопытные: выглядывают фиалки из мятой и белёсой прошлогодней травы, тянут шейки — всё-то им будто бы хочется увидеть. Увидеть, как распустилась лесная сирень — «волчье лыко», как пронесла в гнездо пушинку птичка-королёк, как напряглись и выпустили зелёные ушки почки берёз... Кажется, они ждут чуда, эти глазастые синие и лиловые фиалки. А чудо рядом. Чудо в шорохах, с каким, расталкивая палые, истлевшие за зиму листья, высовываются острые пики травинок, в белой коре берёз, за которой сладким соком набрякла каждая жилка в певучем этом дереве. Потому что вся весна — чудо! И удивлённо и радостно распахнуты синие и лиловые глаза фиалок.

И сами фиалки — лесное чудо. Перед ненастьем склонились они тонкими шейками, низко-низко спрятали головки под собственными листьями. Обычно листья свёрнуты; теперь они распрямились и защитили, как зонтиками, душистые, яркие, с оранжевыми сердечками цветы.

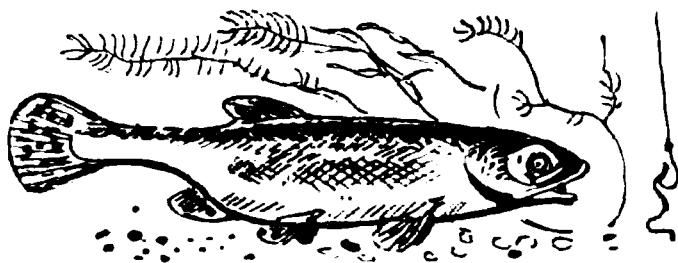
Вот дождь перешёл. С кустов, однако, текло. Ладно, я посижу. Пусть ветром обдует деревья.

Закурился прозрачный парок от земли. Порозовели берёзы. По веткам повисли сверкающие бусы, и каждая хранила на донышке каплю солнца.

Опустился зяблик на ветку. Подхватил клювом сразу две бусинки и вместе с каплями дождя напился и солнца. Потом встряхнул мокрыми пёрышками. И запел — звонко, голосисто, с таким гремящим раскатом.

Гляжу — фиалки складывают зонтики, опять тянут тонкие любопытные шейки из травы.

Солнце светит — прочь зонтики!



ЖОР

Рассказ юного рыболова

Шурку мы взяли на озеро Тёмное из-за трубы: полезная вещь! Шурка её из картона, уменьшительного и увеличительного стёкол сделал.

Шурка не рыбак. Куда ему — в коленках слаб! Говорит, чихал я на ваших сорог. Говорит, я на озере свой кругозор расширять буду и в трубу природу наблюдать.

Если б не труба, мы б ему показали, как на сорожек чихать!

Дорогой на Тёмное Вася взодушевлял меня:

— Рыбалка для здоровья — первое дело. В книге напечатано: выудил рыбку — зараз поздоровел. Да-а!

Вася на Тёмном бывал не однажды, я — ни разу.

На озеро мы пришли вечером.

Тёмное — озеро большое и, наверно, глубокое. Вода в нём болотная, чёрная. Сердитое озеро: волны ходят, что по морю. Дух захватывает, как поглядишь. Озеро в лесу. Ёлки на берегу растут. К одной ёлке избушка притулилась. Только что не на курьих ножках — в наш рост избушка. Сложена из толстых кражей, мохом проконопачена. Вместо крыши — еловое корьё. Пласты коры камнями и жердьём пригнетены. Шишки на крыше грудой — с ёлки попадали. Перед избушкой — плот. Привязан верёвкой к колу.

Мы нашли в избушке котёл, глиняную миску и деревянные ложки с обкусанными краями.

— Это от аппетита, — пояснил Вася.

Мы с Шуркой его на смех подняли. А поспела над костром каша, ну и набросились на неё! Будто век не ели. Так уминали — за ушами трещало.

Котомки у нас сразу отощали. Аппетит! Ничего, хоть ложки целы остались.

— Красота! — радовался Шурка. — Поужинали, теперь на боковую. Я в избушке местечко присмотрел.

— Кто на закате спит? — сказал Вася. — Это вредно! Верно, Алёша?

Мне тоже не терпелось испытать вечерний клёв на озере. Мы нарезали из ив и молодых берёз удищ. Черви — по банке на брата — были припасены ещё дома.

Погрузились мы на плот и уплыли в противоположный конец озера.

Закинули удочки. Поплавки мотало на волнах из стороны в сторону. Ни одной поклёвки...

— Жору нет, — авторитетно заявил Вася. — Ветер северный, вот что. Ничего, мы своё возьмём.

А Шурка доводил, так нас доводил, что рыба не клюёт, — слушать было тошно.

Ночи в мае короткие. Мы просидели у удочек до утра. Поплавки глаза намозолили: прикроешь веки, головой потрясёшь, чтобы одурь прошла... Нет, всё равно поплавки мельтешат перед тобой! Красные, зелёные, синие — всех цветов.

К избушке мы не поплыли. На берегу костёр развели.

Вася лёг под ёлку. Я к нему примостился. Шурка выбрал себе трухлявую колодину.

— Замечательно! — говорил Шурка. — Мягче пуховой постели. Сучки аккуратно между рёбер попадают.

Утром пошёл дождь. Костёр залило. Мы дрожали, прижимаясь друг к другу. Дождь не переставал.

— Это очень даже кстати, — говорил Вася, и зуб на зуб не попадал у него от холода. — После дождя ветер уймётся.

После дождя вправду ветер стих. Мы бегом на плот! Но опять не шелохнутся наши поплавки...

— Что такое? — бормотал Вася. — На этом месте в прошлом году я не успевал дёргать окуней.

За сутки рыбалки без клёва остренькое смуглое лицо моего дружка похудело, осунулось. Он вроде стал ещё долговязее. Я, наверное, выгляжу не лучше: ремень штанов затянут на последнюю дырочку.

Шурка слонялся по плоту, противно хохотал и приставал к нам:

— Чего вы на червяка плюёте? Он, что ли, виноват, если рыба не клюёт?

Вася рассвирепел:

— Соображай! Я на тебя плюну, что будет?

— Драка, — уставился Шурка на свои босые ноги. — Спрашиваешь ещё!

— Да червяк-то не дерётся... Чучело ты! На него плюнешь, так он корчится и рыбу подманивает.

— Ха! Много вы подманили, — хохотал Шурка.

Тут я озлился:

— Да что мы к одному месту прилипли? Рыба к нам не плывёт — мы к ней поплывём! Какой ветер был? Северный. Значит, рыбу искать надо у того берега, у наветренного.

На всех парах переехали мы озеро. Точно: от мокрой одежды на солнце валил пар.

Нашли укромный заливчик. Мохнатые ели, сосны выстроились по кромке берега. Развесив тяжёлые лапы, наклонились они над тёмной водой, роняли капли дождя. А дальше, в глубине леса, — гнилые колодины, ободранные, с синими голыми сучьями ёлки.

Бух! Бух! — раздалось в затопленном кусте ивняка у берега. И как посыплется серебро из-под куста! Целой пригоршней... Да ведь это плотички-сорожки. Щука их, бедных, гоняет.

У Васи руки тряслись, когда он наживлял крючок червяком.

Не успел мой поплавок выпрямиться на воде... Поклёвка! Я подсек и вытащил сорожку.

И началось у нас... Поклёвка за поклёвкой!

У кустов шлёпали хвостами щуки. Похоже, будто вальками по белью.

А вечер, вечер-то! Небо голубое, пахнет мокрым берёзовым листом. Кукушки перекликаются на берегах, и громкое весёлое «ку-ку» летает над водой. Тетерева бормочут и чufыкают на болоте. Заливаются птички....

— Дайте удочку хоть подержать, ребята...— клянчил Шурка, бегая по плоту.— Я только одну сорожку поймаю. А, ребята?

Вася уступил Шурке свою удочку. Сам торопливо размотал другую — с якорьком на стальном поводке. Леса на ней жилковая, грузило тяжёлое, и пробковый поплавок с куриное яйцо. Насадил Вася живца на якорёк, забросил щучью удочку к кусту. Проворно забежал живец, от поплавок—волны. И утонул поплавок.

— Щука взяла! — побледнел Вася.

Тугое удище согнулось в дугу. Вася стонал, вываживая щуку. Высунулась из воды зубастая пасть...

— Шурка, хватай! — заорал Вася.

— Голыми руками? — ахнул Шурка.

— Подсачника-то нет!

Закусив губу, Шурка зажмурился. И цап щуку под брюхо! Она так дёрнулась, что Шурка чуть не угодил в воду. Он раскровенил ладонь, порезал пальцы об острые жаберные крышки щуки и вытащил рыбину на плот. Упал на неё животом.

— Врёшь, не уйдёшь!

Щука ворочалась под ним, и Шурка ворочался.
— Ну и рыло! — тяжело дышал Вася, не сводя влюблённого взгляда со щуки.

И я наладил щучью удочку. Подсек и без хлопот вытянул щучку.

— Весёлая жизнь!

— Главное, для здоровья полезно, — сказал Вася.

Шурка, переминаясь с ноги на ногу, с тоской оглядывался на нас. Сорожки клевали у него беспрестанно.

— Вася, я тебе трубу насовсем... при свидетелях! А, Вася? Бери... а? Ты мне дай жерлицу. Я из неё удочку для щук сделаю. Бери трубу, она хорошая. При свидетелях!

— Я вот наподдаю тебе по шее, и тоже при свидетелях! — прошипел Вася. — Ты думаешь, я хапуга? Макну вот в озеро! За ноги — и головой в воду.

Мы Шурку не макнули: очень жалкий он был. Стоит, голову повесил. На макушке — хохолок, как гребешок петушиный.

Наладили мы Шурке щучью удочку. Мучается же парень, смотреть тошно. Потом мы пять жерлиц расставили по заливу. Шурка следил за ними в свою подзорную трубу. Я ж говорил, оптика — полезная вещь.

К закату у нас на куканах ходило десять рыбин — желтобрюхих, темноспинных, с оранжевыми крапинками на боках. Самых красивых щук в мире!

Проверили мы жерлицы и с песнями уплыли к избушке.

Такую мы уху закатали! За уши от котла не оттянешь.

Наелись до отвала, забрались на нары. Стали

засыпать под шум ёлки над крышей. Вдруг вскочил Шурка точно встрёпанный.

— А как же природа? Может, и ночью спать вредно? Я, ребята, пойду. Расширять кругозор буду и вообще...

Я видел, куда он побежал. На берег, к жерлицам.

— Ой! Шурка подзорную трубу забыл взять. Я его догоню?

— Не стоит, — сказал Вася. — Я отдохну немного и сменю его. Мы кто? Ры-ба-ки! Все — рыбаки. Понимать надо!



РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Серенькая грудка. Пепельно-бурые крылья. Чёрная шапочка, вроде берета, на темени... И зовут маленькую эту птичку «черношляпкой» или «черноголовкой».

Оперение у неё скромное, серенькое, и сама она не любит лезть на глаза. Заявляет она о себе песней, — в те дни на грани весны и лета, когда зацветёт черёмуха, брызгами зелени пробьются всходы на пашне и росными вечерами заскрипят из низин коростели.

Черноголовка из рода славок — защитников леса. Многие считают её лучшей певуньей леса. Скажете: а соловей? Но соловей не забирается глубоко в берёзовое чернолесье, нет его ни в сосновых борах, где подножия деревьев тонут в густых кустах вереска и рябины; ни в ельниках, где нога путника вязнет во мхах и текут настоянные на смородине ручьи; ни по окраинам глухих трущобных лугов, где стога сена огораживают только от лосей...

Начинает петь славка-черноголовка раздумчиво, словно поведывая о чём-то затаённом, всегда вполголоса, и внимают ей бородатые ели в седых космах лишайников, и кусты калины, и заросли папоротников и хвощей, и ручей, бегущий сквозь поляну, умеряет болтливый говорок. Песня крепнет — чистая, переливчатая. Слушаешь её — будто ключевую воду пьёшь! Наверное, есть что сказать славке-черноголовке: длится пение её долго-долго. А закончив петь, она издаёт трогательные, недоумевающие восклицания: «Те? Те?» Будто спрашивает себя: «Неужто я это пела?» Короткая пауза. Не попробовать ли ещё раз? И опять начинается: нежно, тихо и внятно, оттеняя мелодию лёгким прищёлкиванием.

Раз я нашёл летом гнездо славок-черноголовок. Оно было на пушистой ёлке. Невысокой, стоявшей по грудь в траве на поляне. Затаившись в кустах, я видел семейные хлопоты славок: его — в чёрной шапочке, её — в коричневой. Птенцов кормили славки насекомыми и гусеницами. Потом самочка в коричневой шляпке порхнула прямо к моему кусту. Я затаил дыхание. Чёрные живые и блестящие глазки, не задерживаясь на мне, скользнули мимо. Славка с куста опустилась наземь. Разворо-

шила палые листья. Набрала полный клюв земли — и в гнездо.

Я видел, как она оделяла землёй писклявых своих чад — крупницами влажной, пряно пахнущей земли. Для чего — это ей, маме, позвольте знать.

Но я подумал: будущей весной ещё певучей станет этот лес — ведь вместе со старыми прилетят, принесут сюда песни и молодые славки, из материнского клюва доподлинно узнавшие вкус родной земли.



В КРАЮ НЕПУГАНЫХ ПТИЦ

Непроницаема хвойная завеса, заслонившая небо. Ни шороха, пусто вокруг и мертво. Душно, густы испарения от луж затхлой, тёмной как дёготь воды, скопившейся в низинах. Бурелом. Колодник. Вырванные с корнем и обрушенные наземь ветровалом деревья. Громоздятся их завалы, преграждая путь в глубины необитаемой чащи. Редки прогалины, поросшие хвощом и папоротником, теснит их угрюмая рать седых елей. Ни травинки, ни кустика — один мох да сивые космы лишайников на голых нижних сучьях, опутанных паутиной. Мох

да хвоя—тусклая, беспросветная хвоя. Да сеть ветвей, да серые, изборождённые трещинами стволы...

Наверное, когда впервые поднял я на плечи походный рюкзак и заразился странствованиями по нехоженой тайге, с тех пор, наверное, ношу в душе мечту — побывать в местах, где не ступала нога человека, открыть край непуганых птиц.

Там птицы не боятся — не видели никогда человека. Там зверьё топчет тропы, проложенные с незапамятных времён...

И немало исколесил я дорог: был в звонких борах Пинежья, в угрюмых ельниках под Плесецкой, был в Беломорье, где зелёный хвойный шум вторит прибою.

Мечта оставалась неосуществимой...

А в село Плёсо я попал по командировке. Получил задание от редакции — написать о тамошних овощеводах.

Остановился я, как водится, у бригадира овощеводов. Беседа наша затянулась за полночь, тем не менее утром я встал не по-городскому рано, чтобы застать председателя правления колхоза у себя и взять нужные цифры.

Радио уже было включено. С топотом прошло стадо на выгон.

Пели по селу петухи — один другого горластей. По крыше сарая бойко сновала трясогузка. И каждый этот звук — от пенья петухов до громкого голоса динамика, до шелеста птичьих лапок на крыше над головой — был мил сердцу, говорил, что я в деревне.

С сеновала я прошёл в избу умыться. Вдруг во дворе протрубил резко горн.

Я выглянул в окно. У мачты строились ребята в красных галстуках. По-видимому, тут летняя

площадка или лагерь. Руководил построением мальчуган с полевой сумкой через плечо и биноклем на шее — Славик, как я его признал, сынишка бригадира. Был с ребятами учитель, очень молодой, в соломенной шляпе, в тенниске и сандалиях на босу ногу. Он сидел на бревне, разложив на коленях то ли план, то ли карту. Делал пометки карандашом.

— Слава, сеть починена?

— Да, — ответил ему Славик и сразу поправился: — Вчера Ваде было поручено. Вадик, что с сетью? Константин Иванович спрашивает.

— Полный порядочек!

Ребята собираются рыбачить. На прудах. Там много карасей. Лини, я слышал, и то есть. Будто бы их запустил в пруды лесничий, работавший в этой округе незадолго до революции. Теперь в доме лесничего под плакучими берёзами одно из зданий школы-восьмилетки. Не будь у меня неотложных дел, я бы непременно предложил свои услуги ребячьей компании. День обещает быть жарким, и пройтись с бредешком по прудам, добыть карасей... М-м, жаренные в сметане караси — объедение, доложу вам!

Скоро, однако, я забыл и о карасях, и о рыбалке бредешком, настолько меня озадачили, сбили с толку нелепые команды, которые раздавал Славик.

— Оля и Нюра — в секрет на третий квадрат! — приказывал он. — Отнесите воды тёте Тине. Зря её не пугайте — у неё птенцы вывелись.

Две девочки, мелькая пятками, помчались со двора.

— Петя!

— Есть!

— Возьмёшься за капустный квартал — пугни ворон.

— Есть, пугну их, чтобы духу их там не было!

— Гаврик!

Вразвалку вышел из поредевшего строя толстый мальчик. Переминался с ноги на ногу. Бубнил, набычась:

— Не пойду в секрет... Считал, считал вчерась комаров — сто раз сбился. Раз они носят и носят... Скука одна, не секреты!

— Разговорчики! — Славик взглядом молил учителя о поддержке.

В строю слышались смешки, но Константин Иванович словно ничего не замечал, делая пометки на карте.

— Меня на прополку нарядили, — упрямылся Гаврик.

— И я на прополку!

— И меня звали!

Ребята загалдели, перебивая друг друга. Расстроенно махнув рукой, Славик отошёл в сторону.

— Все выйдем на прополку, — поднялся с бревна Константин Иванович. Свернул карту трубочкой. — А своего дела мы не бросим... Есть сведения, что зареченские ребята замышляют набег. Тебе, Гаврик, поручение: следить за мостом. Поступай по обстоятельствам, только воли кулакам не давай, действуй методом убеждения. Понятно?

— Это не комариков считать! — Гаврик повеселел. Поддёрнул трусы и убежал.

Наконец Слава с учителем остались во дворе одни. Полинялый флажок на мачте висел поникший. Безветрие. Не шелохнётся на берёзах лист.

— Константин Иванович, из-за границы ничего

не поступало? Неужели Филипп пропал без вести— с двумя-то браслетами?

Я ничего не понимал. Тётя Тина, у которой вывелись птенцы. Секреты—подсчитывать комаров... Филипп, пропавший без вести с двумя браслетами... Что за чушь?

Председателя колхоза я не застал ни в правлении, ни дома и отправился на овощной участок.

Село обезлюдело — у всех свои дела...

Отлого спускавшиеся к прудам гряды цвели яркими платьями работающих женщин. Были там и ребятишки. Прополка — без их рук как обойтись? Да летом вообще деревенские ребята не сидят без дела. Сенокос, уборка зерновых, теребление льна— везде они вместе со взрослыми.

Хлопая крыльями, как в ладоши, вились чибисы над лугом.

Парил в вышине канюк. Было знойно, и канюк кричал протяжно, тягуче: «Пи-и-ить! Пи-и-ить!»

Шагая дорогой в тени кустарника, я увидел сеть, растянутую на прогалине на шестах. Чудеса продолжаются — кто-то ловит рыбку на сухом берегу!

Из-за поворота показались Константин Иванович со Славиком. Учитель был в сапогах, забрызганных росой, помахивал биноклем.

— А-а... Здравствуйте! — улыбнулся он, поравнявшись.

— Вас председатель ждёт,— поспешил Славик.— Он в поле, где трактор.

Мы разговорились. И уже минуту спустя все мои недоумения были разрешены; я сам смеялся над собой, что так попал впросак.

Ребята ставили сеть в кустах, но ловили, конечно, не рыбу. В сеть они загоняли птичек. Пойман-

ным пернатым Константин Иванович надевал на лапки колечки-браслеты.

Кольцеванием юннаты села Плесо занимались не первый год, тем самым изучая пути перелётов и зимовки птиц. Кольца они получали из Москвы, туда же отсылали и добытый наблюдениями материал.

Засады у гнёзд, подсчёты, сколько раз приносят птички корм птенцам, борьба с вредными хищниками... У плесовских ребят увлекательные дела! Ведь у них пост по охране природы!

— А много птичек с зимовок с юга не возвращаются. В пути, что ли, погибают? — рассказывал Славик. — Сто штук окольцуем — вернётся одна. Вот Филипп пропал. Мы его два года подряд кольцевали. Филиппами мы певчих дроздов зовём. Знаете, они вечерами выпевают очень похоже: «Филипп-Филипп... чай-пъём... чай-пъём!» Они во Франции зимуют.

— Жалко, что не вернулся, — сказал я. — С двумя всё-таки кольцами!

— Не все понимают. Зареченские ребята с рогатками не расстаются. Мы птиц окольцуем, а больше не беспокоим. У нас от Академии наук разрешение есть, чтобы их кольцевать. Мы поилки в кустах понаделали, чтобы птичкам с гнёзд не летать далеко на водопой. У нас сотни дуплянок и скворечен выставлено. И стрижи в домиках живут... во!

— Послушай, а кто у вас тётя Тина?

— Синица... — улыбнулся Славик. — «Тинь-тинь», — свистом передал он синичье теньканье. — У неё вторая кладка за лето. Мы её трижды окольцовывали. Тина — старожилочка наша.

Константин Иванович повесил бинокль на плечо, постукивал прутом по голенищу сапога.

— Вы делаете большое дело,— сказал я горячо. Мне хотелось пожать ему руку.

Он смутился:

— Что вы... что вы! К чему громкие слова?

Но я-то мог предположить, как непросто было Константину Ивановичу организовать этот пост по охране природы. Не потому, что далеки от неё деревенские ребята: напротив, они знают её, живут в ней. Трудность заключалась в том, что ученики его и на каникулах люди занятые. Издавна по деревням ведётся, что ребята — помощники своим отцам и мамам на полевых работах. Не так легко ребятишкам найти время, чтобы той же тёте Тине принести водички в поилку...

— Да,— Константин Иванович, соглашаясь, кивнул головой,— сначала наши занятия с пернатой братией кое-кто считал баловством...

Славик засмеялся:

— Нам гусеницы помогли. Ага!

Минувшим летом огородам — а колхоз имеет от них солидный доход — грозила беда. Был необычайно большой вылет бабочки-капустницы; гусеницы её, размножившись в неимоверном количестве, буквально на корню пожирали рассаду. Химические средства применить с пользой и надлежащим эффектом затруднили обложные дожди, смывавшие препараты с растений. И тут-то и показали себя птицы! Когда установилась погода, огромные стаи скворцов, синиц заполнили гряды...

— До того объедались скворушки, что летать не могли, зажирели,— весело блестел Славик глазами.— Зато всю погань приклевали!

— Верно,— всё ещё смущаясь, Константин Иванович провёл ладонью по лбу. В выгоревшей на солнце тенниске, в сапогах и соломенной шляпе

выглядел он располагающе по-домашнему. Говорил ломким молодым баском.— Верно, возимся с птичками не ради забавы — преследуются хозяйственные цели. Мичурин в своём саду воробьёв и то охранял. А мы? Вижу, вы в восторге, что у нас этот кустарник заповедным объявлен. Сознайтесь, необычным вам это кажется? То-то и оно... Мало что пока делается, чтобы места, где птичьи гнёздовья, взять под охрану. Особенно близ сёл, близ городов. Ведь одна горихвостка за лето истребляет миллион вредителей, синица — шесть с половиной миллионов в год. Крохотная гаичка, на что зимой день короток, обследует в саду по две тысячи ветвей. О скворцах речи нет: что полезны, всем известно. На нас работает крылатая защита, и вы, пожалуйста, не говорите нам громких слов.— Константин Иванович положил руку Славику на плечо: — Мы делаем обыкновенное нужное дело.

Пылила вдали по большаку автомашина. Ласточки сидели на проводах. Трактор урчал неподалёку...

И не было ни застойной лесной тишины, ни угрюмых, захламлиенных буреломом хвойных трущоб...

Так я побывал в краю непуганых птиц. И я понял, какой надо было идти к нему дорогой. Не уходить от людей в хвойное море, а идти к людям — к таким, как сельский учитель Константин Иванович.



ГАМАН НА ОСНЕ

Наплывает волнами по ветру запах цветущих рябин. Луга и поляны раззолочены одуванчиком, купальницей, лютиками. Темень елей подновлена свежей хвоей, и разлатые лапы будто шёлком вышиты и не колются. В нежном пушку листья берёз.

Лето...

Голубеют у подножия серой осины птичьи скорлупки. Напрасно напрягаешь слух: не слышно писка птенцов. Состорожничала горихвостка, унесла скорлупки подальше, и они не наведут на её гнездо.

Уже по окраске выброшенных из гнезда скорлупок можно довольно уверенно судить, где обосновалась желторотая семейка: на земле в открытом поле, в дупле или, напротив, под землёй. И не в том дело, что заранее известно, у какой птички какого цвета яички.

У птиц — свои законы, которым следуют и журавль, и задорный маленький крапивник, и совсем уж крошечный королёк. Первый закон: затаи гнездо, убереги птенцов до подъёма на крыло.

Тот же известный всем журавль населяет болота и серые обширные луга с камышом и осокой. Он

сильный: ударом крыла перешибёт лапу собаке, и клюв у него пикой, и с успехом гоняет он лисиц. Гнездо журки неказисто. Бывает, вытопчет он длинными ногами, сухими, как трости, гриву осоки на кочке, выстелит травой — и готово. Иногда его гнездо — просто куча хвороста, ямка на земле. Трубит журавль у гнезда весной на всё болото. Чего ты, думаешь, раскричался, теперь каждый знает, где ты устроился! Но не всякий музей в коллекции имеет яйца журавля. Они тусклые, бурые, в серых пятнах: на ржавой болотине среди седой осоки их и не углядишь. И сходит с гнезда журка всегда крадучись, ползком, согнувшись в три погибели, а это при ногах-ходулях и длинной шее не так-то просто... Уж совсем не просто человеку добраться до журавлиного гнезда: то отделяют от него топкие мхи, то озеро и непролазные кусты.

Как камушки, яички жаворонка. Серые, в тёмно-бурых крапинах. Почему? Да гнездо-то у жаворонка открытое, свито в поле среди камушков.

Луговой чекан выводит птенцов тоже на земле. А яички зелёные, с голубым отливом. Что за причина, что они так от жавороночьих разнятся? Но гнездо у чекана не в поле — на лугу. Под кустиком, в яркой, не выцветшей на солнце траве. На лугу и тени от кустов, и травы зелёные с просинью!

Пеночки — веснички и трещотки — мастерят гнёзда в траве. Искусно строят из сухих былинки шалаши с покатою кровлей и прячут в них яички — маленькие, с земляничную ягодку, и цветом розовые, как земляника, чуть-чуть подрумяненная солнцем.

У птиц-дуплогнездовиков яйца или блестяще-белые, или голубые, или белые в мелкую красную и коричневую крапинку. Чисто белые яйца — при-

знак, что иначе, как в дуплах, птица не выводит птенцов. Исключения тут очень редки.

Вот дятел — лесной плотник. Строитель дупел. Какие у него яйца в гнезде?

Правильно, только белые, раз ни один дятел без дупел не жилец.

А у горихвостки?

Голубые у горихвостки, как небо летним утром. И по дуплам, по скворечникам она селится, а часто и на земле: где-нибудь под пнём, под грудой хвороста...

Глубоко в норах, обществом по несколько десятков птиц в одном месте, выют гнёзда ласточки-береговушки. В норе безопасно, как и в прочном, крепком дупле. И так же сумрачно... Поэтому яички береговушек белые, в отличие от красновато-бурых яичек ласточек-касаток, которые лепят гнёзда из глины под крышами деревенских строений.

Без утки-чомги трудно представить глухое озеро, заиленную старицу. Гнездо чомги плавучее. Оно из камыша. Спросите у любого удильщика, до чего удобны камышовые поплавки: легки и в воде не намокают. Плавает камышовый или тростниковый плотик, нет заботы чомге, что он потонет. Яйца у неё зеленовато-белые. Живёт чомга на воде, а уж неряха... Пачкает и яйца в гнезде. Вроде нарочно их маскирует!

Высоко по берёзам, соснам гнёзда золотой иволги. Гамаком подвешены к сучьям, и ветер качает колыбельку птенцов.

И что интересно: по мере роста птенцов сучья сгибаются от их тяжести. Гамак так раскачивается в ветер, что оперившиеся молодые иволги чуть из него не падают. Волей-неволей, а покидай гамак — всё равно вывалишься! А очень красивые яйца



Куда ветер, туда и чомга на гнезде плывёт.

иволг: в редких крапинах, то розовые, то жёлтые, словно вобрали они в себя переливы утренней летней зорьки...

Свои законы у птиц.

Завидев хищника у гнезда, притворяется больной славка-завирушка. Ползает по кусту, опираясь на распушенные крылья, срываясь и падая наземь. С собой рискуй, но отведи врага!.. Хлопают крыльями чибисы в страхе: «А-ах! Ах!» Кричат с тоской: «Что-вы? Что-вы?» Манят за собой прохожего, приблизившегося к их гнездовью... Шипит змей, по-змеиному вытягивает шею робкая, беззащитная вертишейка, если в дупло к птенцам просунулась когтистая лапа горностая...

И ты, если увидишь птичье гнездо, не трогай его.

Вокруг — твоя земля. Вся, до последней былинки, твоя. Всё твоё, и ты будь **хозяином**. Для тебя, наследника необъятного мира, берегут птицы леса, стерегут урожай в садах и на полях.

И поют птицы тоже для тебя!



МАТЬ

Дорога пересекала болота, покинутые и уже заросшие лиственной молодью делянки. Грузовик немилосердно подкидывало на рытвинах и ухабах

разъезженной колеи. Покрепче держась за борта и кабину, я в сотый раз повторял про себя слова шофёра, которые сперва пропустил мимо ушей: «Гм, торопитесь? Что ж, это можно — доставлю по прямой. В целом, за душу не ручаюсь, а тело доведу!»

Все неприятности тряски в кузове, однако, забывались, когда автомашина мчала по лесу. Сырой холодок обдавал лицо, наносило грибной прелью. И казалось: грузовик на месте стоит, а лес разворачивается, кружит по невидимой оси, открывая мне новые и новые сокровенные уголки.

Перед спуском в низину шофёр притормозил. Впереди ручей, мутный после недавних ливней; через него перекинут бревенчатый мост.

Медленно, словно нащупывая колею, исчезающую под слоем топкой грязи, автомашина стала сползать с пригорка.

Вдруг из ольховой заросли вылетела трясогузка. Села перед автомашиной. Покачивает длинным хвостиком. В клюве — розовый червяк.

Стройная, изящная птичка повела себя крайне странно.

Быстро-быстро семена тоненькими ножками, трясогузка сновала у самых колёс. Передние колёса грузовика резко вильнули вбок — шофёр выбирал грунт потвёрже. Трясогузка пискнула, выронила червяка, села на куст. И, точно устыдившись своей робости, опять опустилась на землю...

Снова и снова взлетала трясогузка на кусты, и вновь какая-то сила заставляла её опускаться на землю.

Клюв трясогузки был раскрыт, чёрное пятно на белой грудке трепетало. Машина налезала на неё, мотор сердито, надсадливо ревел, хлупала грязь...

Трясогузка отважно перебирала тонкими ножками. Сомнения исчезли: она манила грузовик за собой.

Где-то в кустах было её гнездо или прятались её птенцы-слётки. Туда она несла червяка и увидела рычащую железную громадину. У материнского страха глаза велики: трясогузка вообразила, что автомашина... живая! Что это зелёное чудовище с тупой мордой и круглыми глазищами покушается на птенцов! И маленькая птичка-мать неустрашимо встала на его пути.

За свою горячность трясогузка едва не поплатилась. Автомашина внезапно рванула вперёд — трясогузка вылетела уже из-под радиатора. Но это не охладило её: по-прежнему вертелась она у колёс. Она не доверяла им: колёса двигались.

Наконец грузовик выехал из грязи, загромыхал по брёвнам моста.

И куда вдруг подевалось притворство трясогузки! Только что крылья волочила, а теперь... Задорно высвистывая: «Цвись, цвись, цвись», — она кружила над автомашиной. «Обманула! Обманула!»

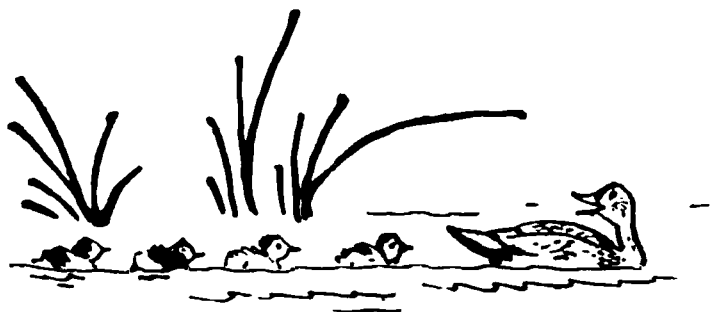
На самом деле наш грузовик не в кусты поехал — покатил по мосту... Целы, конечно, остались её птенцы.

За мостом шофёр остановил машину, выпрыгнул из кабины. Он попинал носком ботинка заляпанные грязью покрышки колёс и, избегая встретиться со мной взглядом, проворчал:

— Спешат, торопятся... Тоже мне!.. Прямой дорогой их вози, а тут грязи по колено и машину загубить можно. Обратно этой дорогой не поедём. Точка! Говорено было, что дорога никудышная, так нет, вози их...

Шофёр посмотрел назад, где трясогузка отводила от гнезда его автомашину, покрутил головой и усмехнулся:

— Д-да... Бывают дела на свете!



ДИКАЯ УТОЧКА

Лес кругом. По-местному «сузёмье» — дебри вековые, нехоженые. Прошито сузёмье нитью узкоколейки; по ней на платформах заготовленная древесина доставляется на берег реки.

Улица посёлка напоминает аллею. Проведена, как по линейке. Пешеходные дорожки усыпаны опавшими с сосен шишками. Пахнет смолой и земляникой. Появился посёлок на месте соснового бора: строители вырубили его лентами, чтобы проложить дорогу, расчистить место под гараж, мастерскую и дома. Домиков-коттеджей под соснами около сотни. Новенькие, как на подбор, под одинаковыми кровлями, с одинаковыми застеклёнными верандами. В палисадниках — малина. На межах в огородах с картошкой блестят лаковыми листьями кустики брусники...

В густой хвое сосен вязнут лучи солнца. Красные стволы испятнаны тенями, дрожащими и прозрачно-лиловыми.

И, падая, стучат о крыши сухие шишки...

На прогалине, кое-где ещё белеет боровой мох, вкопаны скамьи. По отёсанному обрубку бревна нацарапано углем косо: «Динамо» — «Торпедо», 3:1». Буквы неровные, писаны наспех детской рукой. Цифры кто-то пытался стереть. Да, кипели тут страсти! Не прогалина это, а поле стадиона. Футбольные ворота обозначены обломками кирпичей.

С начальником лесопункта, Александром Ивановичем, я встретился возле гаража.

— Это и есть наша лесная целина! — говорил он несколько возвышенно. — Строимся: свой клуб, школа, амбулатория... Всё за какой-нибудь год. Обживаем сузёмье, пускаем корень.

Я переспросил:

— За один год, говорите?

— Да, на пустом месте начинали. А что в том особенного?

— Так-таки за год?

— Посёлок-то большой, одних домов, повторяю, несколько десятков. — Александр Иванович прижмурился лукаво, покусал ус: — А хотите, я вам приведу доказательство, что нашему посёлку и года нет? Так сказать, убеждайтесь на факте.

Мне оставалось только пожать плечами и кивнуть:

— Что ж, давайте ваше доказательство.

— А! — Он поднял палец. — Его в руки не возьмёшь — оно летает. Но посмотреть можно... Отчего же, можно! — Глаза Александра Ивановича смеялись. — Идёмте, не раскаетесь! Не первому вам показываю!

Мы прошли через весь посёлок на окраину. Последний дом. Между соснами растянута верёвка, бельё сушится. Белоголовая девочка играет на

крыльце, печёт из мокрого песка «пирожки». Мальчик лет девяти в линялой майке, успевший загореть до черноты, с платком, намотанным на шею, стругает перочинным ножом саблю.

— Ти-им! — громко позвала девочка, локтем убирая со лба волосы. — Тимофей, покинь саблюку-то, бестолковый, Александр Иванович представителя привёл.

Здесь всех официальных приезжих называют «представителями».

Мальчик поднял на нас глаза и спрятал саблю за спину.

Александр Иванович откашлялся.

— Ну-ка, доложи обстановку, сынок.

— Всё в порядке, — хриплой скороговоркой отрапортовал Тима-Тимофей. — Они плавают.

— Смотрите!.. — бровями погрозил ему Александр Иванович и поманил меня к себе. — Видите?

На задворках дома озерко. Почти лужа. Тёмная вода затянута ряской. Громадные ели развесили щетинистые сучья.

Плавают по озерку утка с утятами. Пушистыми комочками облепили они маму. До одного чумазые, клювы лопаточкой. Ищут что-то в осоке, аппетитно чмокают и, запрокидывая головёнки, пьют воду. Один маленький изловчился склунуть мошку и едва удержался на воде, забавно махая неоперившимися крылышками.

— Видите?

Нескрываемое торжество было в голосе Александра Ивановича. Он ногтем большого пальца оглаживал седеющие усы, собирал весёлые морщинки на висках: ну, чья, мол, взяла?

— Вижу, — отвечал я ему. — Утку. С утятами.

— Какая утка? А?

Александр Иванович подмигнул девочке; она рассмеялась.

«Далась вам эта утка», — подумал я, вслух, однако, сказал:

— Ясно, домашняя... — И осекся. — Позвольте, позвольте... Да это ж чирок! Точно! Чирок-свистунок! А утята... н-ну, шустрые... Сколько же их? Не сосчитаешь!

— Семеро, — пыхтел у меня за спиной Тима и подшмыгивал носом. — Вы не ходите туда. Она всё-таки дикая. А Васька говорит: «Спробуем утёночка поймать, их, говорит, много...»

— Я ва-ам, — пригрозил Александр Иванович. — Ишь вы, публика! Спробуйте у меня! Почему у тебя платок на шее? Простыл? По десять раз на дню в воду лазаешь. Смотри, прикажу отцу... Потонешь, и домой не пустит! — Он тронул меня за плечо: — Видишь, какая публика? Среди лета простыл, платок на шее... Ох, глаз да глаз надо за этой публикой. И какой глаз — по поварёшке!

Я вспомнил спортивную площадку, улицу посёлка, похожую на дачную аллею, аккуратные домики, чистоту и порядок в гараже... и промолчал. Ничего не сказал. Только улыбнулся: славный ты человек, Александр Иванович!

«Доказательство, которое летает»... Придумал же!

Плавала по озерку дикая уточка. Плавала на задворках людного рабочего посёлка.

Весной, когда возвращаются с юга перелётные птицы, им далеко не всё равно, где остановиться и вить гнёзда. Их зовут к себе родные края, где впервые увидели они свет, где впервые крылья подняли их в воздух. И ни бури, ни туманы, ни ветры со

снежными зарядами — ничто не собьёт перелётных с пути. У них впереди — родина. А она даже у них, крылатых скитальцев, одна. В целом свете одна!.. И ранней весной, после тысячекилометровых дорог, уточка-чирок опустилась на знакомое ей озерко. На глухое лесное озерко. Не ради краткого отдыха, а для того, чтобы вывести утят и чтобы они потом, когда вырастут, следующей весной знали, куда им держать с юга путь.

А здесь уже обосновались люди.

Здесь валили лес, строили дома...

Это не испугало уточку. Она осталась. Осталась возле добрых людей, которые ей не мешали. Уточка осталась и вывела утят.

Уточка-чирок, которая любит тишину и населяет самые непролазные места, лесные озёра...

Я спустился вниз, на берег.

Тихо крикая, уточка собрала свой выводок, исчезла в высокой траве на противоположном берегу. Там, возможно, был проход в другое такое же маленькое озерко.

Чернявые утята, бойко загребая лапками, последовали за мамой, точно она тянула их магнитом.

На мелкой зелёной ряске затемнели каналы: где плавала утка — пошире, где её птенцы — поуже. И на воде следы остаются.

Илистый берег был в отпечатках босых ребячьих ног.

Мокла в воде горбушка хлеба...



ОПОЛОВНИК

Ополовник, или уполовник,—разливательная ложка с длинным стеблом, черпак для супа.

И всё?

Нет, уполовник же—длиннохвостая синица. Она пухленькая, эта пичуга, светлая, с тёмной спинкой и чёрным крошечным клювиком. Резвое создание: всё бы ей по кустам перепархивать и кувыркатся

на ветках. А хвостик у неё длинный-длинный. Чёрный, с белыми пёрышками по краям. Когда синичка летит через прогалину, руля развёрнутым хвостом, залюбуешься ею!

И эту-то милую малютку звать, как поварской черпак? Это же просто оскорбление! С виду, из-за длинного хвоста, она, верно, напоминает уполовничек, да сходство-то чисто внешнее. И мне обидно было за синичку, самую интересную и красивую в северных лесах. Но до тех пор было обидно, пока я с ней не познакомился ближе.

К гнездовью ополовников проникнуть сложно. Они селятся по болотам, сырым оврагам, в недоступной чапыге—частых, захламлённых зарослях, притом высоко на деревьях. Гнездо их—одна из лесных диковинок. Искусно сплетённое из мха, выложенное тысячами пёрышек, пушинок, оно круг-

лое, вход имеет сбоку. Птенцы сидят в нём, словно в коконе. Для прочности гнездо скреплено паутиной, в целях маскировки облицовано клочьями берёсты и лишайником.

Из ряда признаков я заключил, что в группе берёз на окрайке болота живёт пара длиннохвостых синиц. Пушистых маленьких резвуний я видел всякий раз, когда проходил мимо, бултыхая сапогами по торфянистой грязи. Между тем сколько я ни старался — глаза проглядел, — гнезда обнаружить не удавалось.

Помог случай. Мне довелось быть свидетелем вылета птенцов. Из серого шарика, который принимал я за нарост на стволе берёзы, выскользнул птенец. Следом — другой...

«Си-си-си», — заголосили они пискляво, спрятавшись в листве.

«Чур! Чур! — уговаривали их взрослые синицы, кувыркаясь на ветках, как акробаты. — Чур, не падать! Чур! Чур!»

Немного погода из шара-гнезда так и посыпалось — вылетел ещё десяток птенцов.

Они были чернявые, с тёмными, будто чем-то испачканными щеками. Все — ни в мать, ни в отца. Потому что ни у одного не было длинного хвоста, которым этот синичий род славится! Мятые перья-коротышки сзади похожи у них больше на какую-то запятую, чем на хвосты.

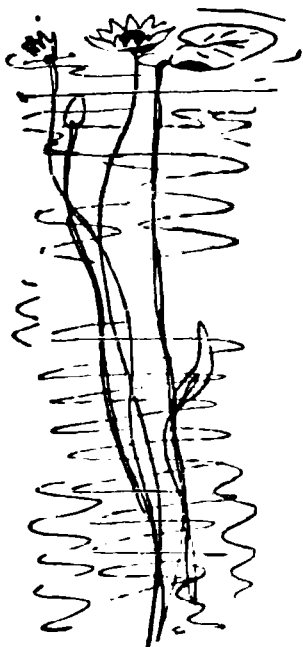
Собрались малыши на берёзовом суку. Дружно сели в ряд, разинули дружно клювишки.

С крыльев сбивались белоголовые папа и мама, чтобы накормить дорогую чумазую свою оравушку.

Я стоял под берёзой с полчаса. Хлопотуньи-длиннохвостки за это время столько раз приносили пищу — я счёт потерял. Они словно бы ложкой

где-то черпали гусениц, пауков, бледных ночных бабочек, зачерпывали и раздавали желторотой очередей на суку.

Так чем же длиннохвостые синицы не ополонички?



СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Задолго до рассвета я покинул сеновал и заторопился с удочками на озеро, запинаясь в потёмках о колодины и корнища деревьев.

Рано пришёл: спит озеро.

Чтобы скоротать время, развёл костёр. Нарочно подбросил на огонь ивовых прутьев. Запашистый дымок дают! Не то берёза, от горячей берёсты деготьком наносит. А у ольховых дров ни дыма, ни запаха. На них хорошо рыбу коптить. Одна не-

задача: улов мой пока в озере. И улыбнётся ли мне рыбацкое счастье?

Надо ждать. Ждать зарю.

Костёр разгорелся. Омут запроссвечивал. Под позолоченной пламенем голубой плёнкой вода обретала цвет янтаря, постепенно переходящий в зеленовато-коричневую темень. В бурых перистых водорослях поблёскивали мальки чешуёй. Красные плавники, глаза с оранжевым ободком... Плотички. Прозрачные, несмотря на серебро чешуи,

Спали плотички. Спали вниз головой, потягивая воду в розовые бахромчатые жабры.

На жёлтом махровом цветке спал на берегу шмель. Покачивался стебелёк, укачивал, баюкал шмеля. Я пощекотал ему полосатое, в седом ворсе брюшко. Лапкой не дрыгнул: вместе с цветком его понеси — не проснётся.

Как паркетом, заводь выстлана блестящими листьями кувшинок — белых лилий.

Я думаю, в любом водоёме — в реке ли, озере, в тинистом ли пруду, осенённом плакучими ивами, — есть что-то своё, неповторимое. Своя душа и своё дыхание.

Душа заводов — белые лилии. Упруги их снежные лепестки, ярки, как огонь, тычинки. Днём плавит солнце в лаковых зелёных листьях, бросает блики света на тростники, на стволы медных сосен, накренившихся к омуту. Уходят стебли кувшинок в сумеречную глубину, недостижимую постороннему взгляду, где водоросли, тина и перламутровые раковины. Шевелятся на дне серые размытые тени, причудливо переплетаются жгуты корневищ... Свой, потаённый мир под белыми звёздами лилий!

Угасают лилии с вечера. Повеет прохладой, умирит солнце зной, и начнут смыкаться белые, в прозрачных прожилках лепестки, сами упаковываясь в тугой, плотный шар. Укорачиваясь, стебель увлекает заснувшее белое диво под воду. И заводь словно бы осиротеет, нальётся тоскливой, мрачной теменью.

Ночь. Спят под водой лилии. Их разбудит только свет и солнце. В пасмурную хмарь раскрываются лилии далеко не все, а перед дождём прячутся в воду.

Исстари прославлена дивная красота белых лилий. Звали их «одолень-трава». Землепроходцы-путешественники древности носили корни лилий в ладонке на груди, повторяя заговорное слово:

«Одолень-трава! Не я тебя поливал, не я породил, породила тебя мать сыра земля... Одолень-трава! Одолей мне горы высокие, доли низкие, озёра синие, берега крутые, леса тёмные, пеньки и колоды... Спрячу я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца, во всём пути и во всей дороженьке!»

Много в нашем краю озёр и речных омутов с белыми лилиями.

Много было в нашем краю отважных землепроходцев: Семён Дежнёв, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов... И ещё больше тех, чьи имена безвестны... Ходили они в Сибирь, первыми ступали из русских на далёкую Камчатку, открывали моря и проливы, пролагали пути к Тихому океану.

«Еду я из поля в поле, в зелёные луга, в дальние места, по утренним и вечерним зорям. Умываюсь медвяною росой, утираюсь солнцем, облакаюсь облаками, опоясываюсь частыми звёздами... Еду я, одолень-трава, к окиян-морю...»

Ночь. Под водой белые лилии.

Не достать ли и мне корешок одолень-травы?

Посветлело на востоке. Горихвостка пропела утреннюю побудку.

Забелел туман.

Плеснулась большая рыба, послала в камыши затухающую волну.

А мальков-плотичек, я смотрю, из водорослей возле берега и след простыл.

Сон в летнюю ночь короток.



ОРЛАН

Смотав удочки, я прилёг в тени отдохнуть перед обратной дорогой. Далеко до жилья, долго же придётся тащиться, вызванивая котелком за спиной, сквозь леса, через болота и старую гарь.

Становилось знойно. Всё примолкло. Одни кузнечики назойливей и неугомонней трещали в траве, да, распластав крылья, с криком парил над озером исполинский орлан-белохвост: «Ки-ий! Ки-ий!»

Вода в озере была непроглядно черна, но блестела под солнцем, точно зеркало, и, как зеркало, чётко отражала сосняк на берегу и белые тающие облака. И было жутковато в неё смо-

треть и видеть орланов: один парил в вышине, другой — в бездне озера...

Гнездо орланов — громадная груда толстых сучьев — на вершине сосны. Вероятно, год за годом занимали орланы одно и то же место, подновляли и ремонтировали гнездо, добавляя на него новые и новые прутья. Потому оно такое громадное. Удивительно, как не подломит своей тяжестью вершину дерева!

Бурая орлица, подняв вверх клюв, застыла, расправив двухметровые крылья. Затеняла ими птенцов от лучей солнца, создавала тень: как бы головки маленьким не напекло! Самой жарко, клюв разинут, а крыльев не опустит, не сомкнёт — не шелохнётся, точно врезанная в замутнённое зноем небо.

Раздался шорох в камышах. Раздвинулись камыши, пропустили на плёс чомгу. Чёрные рожки, рыжие распушённые баки вместе с крошечными издали глазками делали её комичной и чопорной одновременно. Трое тёмных остроклювых утят сопровождали чомгу по бокам. Они не плыли — словно бы катились пушистыми шариками по застеклевшей воде.

Маленькие ныряли наверняка неважно, зато их чопорная, нарядная мама ушла под воду, ряби не подняв. И вышла — с плотичкой в клюве. Плотичка была ещё жива, трепетала хвостом. И живую, трепещущую, её и проглотила чомга. Маленьким не дала — вот безобразие!

Как это произошло, я не углядел, но скоро трое маленьких чомг очутились у мамы на спине. Поплыли, как на пароходе! Словно желая доставить проказливым пассажирам удовольствие, чомга, распустив баки и выставив рожки, медленно курсировала взад-вперёд возле камышей.

Внезапно орлан, о существовании которого я и забыл, заглядевшись на семейку чомг, выпустил хищные лапы и устремился вниз. Он пикировал прямо на чомгу, в его широких крыльях свистел рассекаемый воздух.

Чомга мгновенно исчезла. Будто провалилась — без шума и плеска.

Ударившись о воду, орлан поднял тучу брызг.



Орлан выпустил хищные когти...

«Промазал!» — чуть не крикнул я. Вовремя удержался, потому что чомга вынырнула так близко от меня в камышах, что я заметил, как с её рыжих баков скатилась капля воды.

А где её маленькие? Э, не потерялись! Острые клювики беззаботно выглядывали из-под крыльев чомги. Выходит, чомга прихватила их, что называется, под мышки, прежде чем нырнуть.

Орлан между тем бил и бил крыльями, окатывал себя брызгами, заходясь яростными хриплыми криками.

Тяжело поднялся он наконец в воздух, мокрый, взъерошенный. В крючьях его лап вдруг золотым боком просияла рыбина.

Ну и язище!.. Я ахнул. Какого великолепного язя подцепил этот белохвостый бродяга! Появись я с подобным уловом в деревне, да легенды бы о моей удаче ребятишки сочинили!

А краснопёрого золотого язя нёс орлан. Нёс в гнездо.

Он рыболов, этот орёл, каких поискать. А я-то думал, он на чомгу набросился. Как бы не так: нужна ему чомга, когда язей в озере хватает!

Пользуясь тем, что чомга вновь нырнула, я, пригибаясь и волоча удилица, убрался в кусты и там вышел на дорогу.

На лесном озере своя жизнь. И пусть она продолжается...



ПЕРВЫЙ ШАГ

Погружается лес в вечернюю прохладу и тень. Берёзы, подняв гибкие вершины, нежатся в закатных лучах солнца и розовеют светлой корой. Стоят, распустили зелёные косы. Ёлки, повесив хвойные лапы, как уши, вроде спят...

И писк птенцов не нарушит тишину: эти-то, конечно, спят. Покричи-ка день-деньской: «Дай! Дай!» — умаешься.

И муравьи не шуршат лапками по хвое — убрались в муравьище на ночлег.

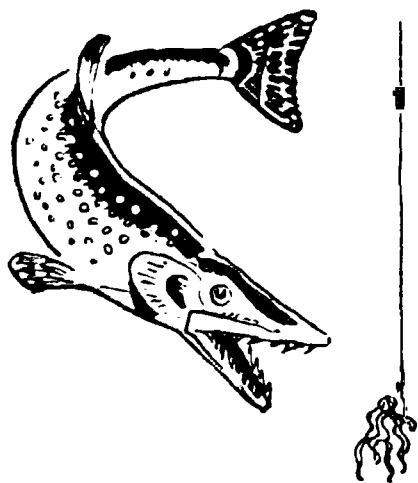
Вдруг откуда-то взялась над лесом птица. Необычного облика — иначе я бы так не насторожился! Кто это? Полёт птицы плавен, медлителен. На хищника она никак не похожа, а в лапах несёт добычу.

Птица летела вдоль просеки. Скоро узнал я в ней лесного кулика вальдшнепа. По длинному клюву и ржавчато-бурой окраске, которая казалась в свете заката рыжей, почти красной. Вальдшнеп тянул низко, с усилием взмахивал крыльями и в лапках бережно держал собственного птенца. Живого и невредимого! Клюв кулика опущен, крупные

влажные глаза устремлены вниз, словно выбирает он себе дорогу. Птенец был пуховый, кажется, весь состоял из клюва и больших глаз. Пока вальдшнеп удалялся, я успел рассмотреть, что птенчик повёл клювиком по сторонам...

Вальдшнепа с выводком, очевидно, потривожили: рядом железная дорога, дачники. Поэтому решила мама-вальдшнеп переселиться с потомством в более уединённое и безопасное место.

Первый полёт, первый свой шаг в мир — океан света, простора полей и лесов — маленькие вальдшнепы делали на маминых крыльях...



ЩУЧИЙ ПРОФЕССОР

Лесная речушка Еловуха. Есть у неё задумчивые омуты с лилиями и синими стрекозами-красавками, с корявыми старыми ивами, которые полощут свои длинные ветви в воде. Славится Еловуха и перекатами — в кипении потока, в россыпи разноцветных камешков.

Рыбак рыбака видит издалека, однако непости-

жимо, как можно было меня разглядеть, если я нарочно прятался от любопытных глаз в прибрежных зарослях?

— Ты, милой, удилищем-то по воде не шваркай,— наставлял меня какой-то дед, появившийся за моей спиной.— Рыбка шума чурается. Да-а... А насадка у тебя? Черваки? Ты непременно попробуй на жмых. Червак, он ничего — способность имеет, а жмых для язя — разлюбезная приманка. На рачье мясо испытай, на ракушку. Дорожный хлам тоже разную рыбу приманивает. Нагреби его в мешок — и в реку. Что тут пойдёт... Со всей реки рыбы сбегутся! Дёргай! — прерывал свои поучения дед.— Наплавок эвон в сторону попёрло. Подсмывай!

Я дёргал, тянул, «подсмывкал»...

Рыба обязательно срывалась.

Уходил дед, заядлый рыболов. Стайкой набегали ребятишки. Потом прибрела старушка с корзинкой земляники. И она не упустила случая меня поучить:

— Не на месте сидишь. Ты бы к Сухому броду подался. Давеча видела: язи у коряг стоят. Один к одному — толстушие, как поленья. А налим хвостом так и крутит.

— Где ж этот брод?

— Откуль ты, желанный, ежели Сухого брода не знаешь? — трясла старушка седой в чёрном по-войнике¹ головой.

Не мудрено, что к вечеру я забрался по Еловухе подальше от всех учителей по хитрой рыбацкой науке — в глушь, в самые что ни на есть комариные владения.

¹ Повойник — платок.

Перед закатом по плёсу словно дождь с градом пошёл: круги, круги... Играла, плескалась мелочь, пускали пузыри тёмноспинные, золотобокые язи. Брала же большей частью плотва. Я ждал: авось вытащу что-нибудь покрупнее? Не этими ли ожиданиями красна жизнь удильщика, одолеваемого несчётными комариными полчищами?

Тени мохнатых елей ложились на реку, растворяясь в воде. Лучи закатного солнца полосой прорезали густой, насыщенный запахом трав и тины воздух. Клёв, тишина... Большого желать не надо!

Вдруг надо мной — я удил у обрыва — послышался шорох. Сверху, подскакивая, упал камешек и булькнул в воду.

Я обернулся. Над высокой травой среди белых зонтиков дягиля и дудника торчала кепка с пуговкой и растрёпанным козырьком.

Поплавок задрожал. Я подсек и вытащил мясистого подъязка.

— Здорово-о! — Кепка с пуговкой не скрывала своего восхищения.

— Ничего, клюёт.

Круглое безбровое лицо мальчика добродушно; нос, осыпанный веснушками, был крапчатый, как воробьиное яичко.

— Тебя как зовут? — спросил я вполголоса.

— Стёпа, — шёпотом ответил он и спустился ко мне по обрыву.

— Удить любишь?

— Ага. Я по щуке. Ну, из-за её характера... — Стёпа застенчиво копал босой пяткой песок. На плече его висели оброты: за конями мальчик послан. Кони в здешней стороне пасутся в лесу. — Ребята дразнят, что я — щучий профессор. Любят посмеяться-то...

— На какую снасть ты ловишь, Стёпа? На жерлицы или спиннингом?

— Спиннинг дóрог, я попросту, на крючок. На червяка.

— Щук! На червя?

Я хмыкнул. О таком ужении что-то не слышал. Берёт щука на червя, но случайно и далеко не везде.

— Хм... на червя! Ведь ты заливаешь, а, профессор?

— Чего ещё!.. — Стёпа засопел. — Хошь, покажу?

Я ему отдал запасную удочку. Стёпа проверил прочность жилковой лесы. Приподняв светлые бровки, пощёлкал языком:

— Справная лесочка! Такой у меня в руках не бывало.

На удилище он сломил рябиновый прут. Привязал лесу. На крючок насадил сразу горстку червей.

— Чтобы бородой висели...

— А дальше?

— Увидишь... — пообещал Стёпа и ушёл от меня к перекату. Перебрёл речку и пристроился у меня на виду — на противоположной стороне омута.

Я наблюдал за ним с возрастающим интересом. Стёпа не опустил леску сразу в воду, а сперва поводил червяками по поверхности омута. Похоже, ополоснул «бороду». Потом опустил насадку на дно. Опять поднял, опять опустил... Щучья поклёвка последовала внезапно, рябиновый прут дрогнул вершинкой и согнулся в дугу.

— Тащи! — крикнул я.

Закусывая губу, сопя и бледнея, Стёпа подвёл щуку к берегу, взмахнул удилищем и выбросил её в траву.

Он предстал передо мной с щукой в одной руке, с удочкой — в другой. Веснушки на его носу торжествовали победу. Стёпа улыбался во весь рот и цепко держал щуку под жабры. Она щерила зубастую пасть, с хвоста падали блестящие капли.

— Поразительно!.. Ты, Стёпа, действительно профессор!

Он посадил щучку на мой кулан. Удочку бережно сматал и прислонил к кусту.

— Разве это щука? Так себе — щурёнок, травянка... А вот донная возьмёт — тогда держись: вырывается, до поту с ней возишься. Иная лесу перекусит — и поминай как звали... Да-а! А удить щук всего способнее, когда луна на ущербе и жара малость поспадёт, да на глуби, где трава, всякие водоросли. Мы говорим: где щука на стойке... На отдыхе, значит, стоит. Щук у нас прорва. Закидушки ночью завсегда перепутают, изорвут. Дурной у щуки характер, ой дурной! Жадина и обжора она. За железякой-блесной и то бегаёт, норовит вцепиться. Да-а... за железякой! Куда уж дальше-то?

Про себя я улыбнулся: не «дурной» щучий нрав — причина, что она берёт на блесну, «гоняется» за ней. Блесну щука принимает за рыбку, обманывается и попадает на крючок.

По совету Стёпы я сменил место. И выудил щучку. На червя, представьте, клюнула! Трудно сказать, кто из нас был больше рад удаче: я или Стёпа. Ему на месте не стоялось, он краснел и бледнел, и голос у него пропадал от страсти и азарта.

Я разволновался: ужю щук на червя! И удочка моя осталась без крючка... Это вторая щука откусила его вместе с грузилом и поводком.

Стёпа укорил меня:

— Не зевай, дядя, не малявок удишь!..

Я, похоже, крепко потерял в его мнении. Стёпа даже поскучился.

— Я пойду,— закинул он оброти на плечо.— Завтра силос будем возить, коней надо привести... Он стал деловитым и озабоченным.— Солнце-то закатывается сегодня красно... не в тучу... Стало быть, жди погожей погоды. В самый раз будет силос в ямы набивать. Погодка установилась! Куда уж лучше-то? Вроде бы и некуда.

— Постой, а как же щука? — сказал я.— Или ты её забирай: негоже улов оставлять! — Я покинул удочки.— Или давай костёр запалим? Уху, понимаешь, закатим. А?

— Уха, конечно...— Стёпа замялся.

Велико было искушение: запалить на берегу костёр, наварить ухи,— так я его понял. Но он поднял на меня серые простодушные глаза и покраснел.

— Я ведь уху не ем.

— Что? Рыбак — и ухи не ешь?

— Ловить ловлю...— Он копал босой пяткой песок и, потупившись, моргал сивыми ресницами.— То ребята и смеются, что я-де щучий профессор. Да ведь я не ради чего... Я из-за характера щук-то ужу!

— Если так, то...— Я подал ему жестянку с крючками, набором якорьков-тройников, мотком жилки и прочей снастью.— На, бери, чтобы я видел.

Стёпа отдернул руки назад и замотал головой:

— Не-е... что ты, дяденька!

— Бери, бери. Уговаривать тебя, да? Ты уж не обижай меня.

— Ладно, коли так.— Стёпа открыл жестянку, и глаза у него разгорелись.— Да ведь тут на всех

ребят хватит и ещё много останется. Я тебя век буду вспоминать и другим накажу.

Ушёл Стёпа. Жестянку он нёс в кепке, и, пока я видел, он заглядывал в неё, проверял: тут ли его бесценное сокровище? Оброти на его плече позванивали удилами.

Скоро звон удил удалился, стих, и я опять остался наедине с речкой Еловухой.



„ОКОЛПАЧИЛИ!“

— Охотник тоже, а с вороной не справится!
Деревней хоть не ходи. Ружьё хоть прячь.

Растрёпа-ворона с тощим, наполовину выдраным в драках хвостом — и перед ней я бессилен. Бессилен с ружьём, со всей охотничьей сноровкой.

Не могу с вороной справиться, и всё...

Я ли их свору не знаю, я ли не наслышан о проделках ворон, ворующих корм и цыплят на птичниках! Но те, похоже, были кроткие ангелы в сравнении с этой бандиткой. Простодушных, наивных, обвести их вокруг пальца труда не составляло.

Но эта...

Днями я пропадал на птичнике. Утром и вече-

ром гонялся за серой голенастой пираткой, выслеживая её, где только возможно. Загубил ворон — не счесть, изрядно сократил их племя, но эту, которая повадилась похищать цыплят, — эту перехитрить ума не хватало.

Будто зная, что я поджидаю её с ружьём на птичнике, ворона садилась поодаль на сухую осину. Я корчился в три погибели в шалаше, пока не лопалось терпение. Наконец вылезал я из шалаша, и ворона с издёвкой кланялась мне с осины:

«Кар-р! Кар-р!»

Она меня знала и, могу поручиться, отличила бы и в толпе.

Не прибегнуть ли к маскараду? Если вороны не подпускают к себе человека с ружьём, так что из этого? Нет безвыходных положений. Нарядись в платье птичницы, прикрой подолом ружья. Будь покоен: вороны не разберут маскарада, подлетят близёхонько — сыпь по ним свинцом из обоих стволов! Сделай одолжение, сыпь!

Я так поступить не мог. Напялив на себя платье любой из наших птичниц, я обратился бы в такое чучело, что все вороны покатались бы со смеху.

Вообразите себе тучного дядю в косынке из пионерского галстука на макушке, в халатике выше колен... Что это? Чучело, и больше ничего. Чучело ворон пугать!

Дело в том, что на колхозном птичнике взрослых не было, кроме молоденькой девушки-заведующей.

Инкубаторских цыплят получили поздно, в разгар сенокоса. Тогда Марьяна с подружками и взялись за шефство на птичнике. Постепенно девочки всё там прибрали к рукам, стали цыплятам и кормилицами, и няньками, и охраной.

Я снимал у родителей Марьянки горницу. Помню, с какой гордостью мне говорила Марьянка:

— У одного цыплёночка, того шустрого, который первый к творогу бегаёт,— ты его всё равно не знаешь!— у него гребешок показался!

И вот, что ни день — недосчитывают цыплят. С гребешками, без гребешков... Ворона их крадёт.

И я гоняюсь за ней, воругой, и пылясь в сених удочки, и в лес на охоту сходить некогда. Пропадает мой отпуск.

Что ещё бы против неё предпринять?

Девочки ходят зарёванные, и согласитесь, цыплят жалко.

Я придумал страшную месть.

Я взялся подкармливать ворону-воровку колбасой. Являлся на птичник без ружья, рассыпал нарезанную мелко колбаску и лстиво звал ворону к угощению: «Гули-гули-гуленьки!» В душе я лелеял страшную месть, когда из шалаша видел, как ворона, давясь от жадности, пожирает мою колбаску.

А Марьянка со мной перестала здороваться. Вслед мне на деревне откровенно смеялись:

— Не чудак ли: вороне колбасу покупает! Какую она ест-то?

— Любительскую,— отшучивался я. На душе кошки скребли: позора не оберусь, если провалится моё предприятие.

Цыплята на птичнике пропадали по-прежнему. И сытая ворона таскала их... по привычке.

Знаете, есть такие клейкие ленты. Их развешивают, где много мух.

Я достал этих лент. В картонных патронах с петельками. Потянуть за петельку — и вытянется клейкая лента: такая клейкая — пальцем не тронь, сам прилипнешь, пальцы не отдерёшь.

Из лент я накрутил колпачков. Вроде тех кульков, в какие конфеты отпускают продавцы магазинов. Снаружи колпачки я оклеил бумагой. Для прочности и чтобы не прилипать к ним.

Чуть свет я был на птичнике. Выкопать во дворе ямки, замаскировать кульки, положить в них на дно по доле колбасы для приманки — это не заняло много времени. Быстро управился.

Светало медленно. Я прикорнул в шалаше, ждал-ждал прилёта вороны и задремал.

Меня разбудили ликующие вопли девочек, прибежавших на работу:

— Околпачили! Околпачили!

По двору, распустив крылья, с носатой головой, по плечи засунутой в клейкий колпак, скакала ворона. Та самая горбатая от старости воровка с выщипанным в драках хвостом!

Полезла в ямку за колбасой — и влипла...

Неуклюже подпрыгнув, она попыталась взлететь. Но сослепу наткнулась на изгородь и брякнулась оземь.

Она лежала на спине и сучила чёрными костлявыми лапами. В бумажном колпаке выглядела ворона дура душой.



НА ПРОСЕКЕ

Не в духе явился Пров Степанович в правление колхоза. Тучный, с крупной седой головой, тяжело ступая, прошёл он в кабинет и тотчас принялся звонить в производственное управление: оттуда чуть свет обещали пригнать машины под телят, подготовленных к сдаче на мясо. Сейчас скоро девять, а машин нет и нет.

Едва Прова Степановича соединили с управлением, не успел он изложить претензии, как связь нарушилась.

— Кажинный раз на этом месте! — загремел вконец разгневанный председатель.

Нужно сказать, что со связью вот уже несколько дней творились странные вещи: на линии, проходившей лесной просекой, чуть поодаль от большака, кто-то обрывал провода. Колхозный монтер Сёма, под стать председателю колхоза, человек горячий до вспыльчивости, валил на мальчишек: дескать, они балуются. Ходят на просеку за малиной и из озорства портят линию. Кое-кому из босоногих коноводов он уши надрал. Но ребята клялись, что

ни столбов, ни проводов они мизинцем не трогали. Сёма и подкарауливал в кустах озорников, и произвёл тщательный осмотр места происшествия — всё впустую. Действительно, мальчишки бегали на просеку только за малиной. Что касается телефонных столбов, то на них Сёма ничего не обнаружил, кроме царапин, оставленных своими железными монтёрскими «кошками».

Было от чего нервничать!

Из кабинета председателя Сёма выбежал красный как рак. Видно, крепко досталось за халатность от Прова Степановича. Да и то надо понять: страда, идёт сдача хлеба и продуктов животноводства государству, а из-за неполадок на линии ни с бригадами связаться, ни с управлением поговорить.

Ребятишки потом уверяли, что дядя Сёма, обжигая руки, тут же, у правления колхоза, нарвал в канаве пук крапивы и, загребая пыль рыжими сапогами, пролетел через деревню, крича с угрозой:

— Я им покажу, сорванцам!

Обрыв провода Семён по-прежнему относил на счёт мальчишек. Они! Больше некому! Ничего, крапива их образумит.

Полтора километра до просеки Сёма бежал, словно на кроссе. Пот заливал лицо, сердце колотилось.

— Я им покаж-жу!

Опустился на четвереньки и пополз в кустах. Тайлся. Наконец выглянул.

Ага! Вон на столбе кто-то орудует. Маленький, большеголовый. Кепчонка вроде бы рыжая, как и пиджачишко. Впопыхах больше ничего издали Сёма не разглядел и начал подбираться ближе.

Дзинь... дзи-н-нь — жалобно звенели провода.

Этот ноющий звук распалаял и горячил монтьёра. Провода словно молили о пощаде.

Дзин-нь... дзин-н-нь!

Сёма не выдержал, снова высунул голову из кустов малинника и обомлел. Шагах в пятидесяти на просеке темнела фигура медведицы. Опираясь на передние лапы, полулёжа, медведица жмурила дремучие глазки на медвежонка, забравшегося на телефонный столб. Косматый проказник забавлялся. Когтями лап он натягивал провод и, подставив ухо, отпускал. Провод издавал сильный дребезжащий звук, и это медвежонка очень занимало. Невообразимое удовольствие было написано на его круглой, с носиком пуговкой морде.

— Вот так рыжая кепчонка! — пробормотал Сёма.

Второй медвежонок валялся у мамыши под боком. Лизал вздувшийся живот и с вполне отчётливым намерением взирал на братца на столбе. Было ясно: и этому не терпится поиграть проводами. Зазевается его мамыша, и он тоже взберётся на столб.

— Ах я вам, бездельники! — гаркнул вдруг Сёма и выскочил из кустов. — Вот я вам!

Медвежонка со столба как ветром сдунуло. Упав, он шмякнулся оземь и заскулил, но, получив шлепок от мамыши, первым кинулся прочь с просеки.

В мгновение ока медвежья семейка исчезла из глаз. Только оборванный провод, свесившийся со столба спиралью, позванивая, напоминал о происшествии. Всё тише звенел, всё глуше...



ЗАЯЧЬЯ КАРТОШКА

Дождь-проливень умоет лес, напоит землю. И так славно пойдут грибы! Белые боровики, у которых золотисто-бурая шляпка похожа на пшеничный хлебец. Нарядные подосиновики. Маслята с липкой коричневой кожицей. Розовые волнушки. Синие, карминно-красные сыроежки... А опят по пням хоть косой коси!

Открылась грибная пора, и по деревням тут и там вечерами пахнет дымом костров. Это ребятишки кашеварят, поджидая взрослых с работы. Похлёбка из свежих грибов, заправленная луком и лавровым листом, вкусна. Разложены костры где-нибудь у воды, а маленькие повара то и дело в котелках ложками пробуют: как упрели, уварились грибки? Причмокивают, похваливая:

— Хороша свининка из-под кустика!

Любителей грибов и в самом лесу не перечесть. Таёжные отшельники-глухари, тетерева, рябчики, кормясь на ягодниках, не прочь расклевать грибок и тем разнообразить своё меню. А сойки — голубые лесные крикуньи — те мастерицы заготавливать грибы на зиму. Вороваты сойки: что плохо лежит, то

го и гляди, стянут. Зато и свои грибные кладовые они устраивают с оглядкой: вдруг кто заметит и их, воришек, тоже обворует? Прячут сойки грибы в дупла, в хвою и щели в коре деревьев. Понятно, что так поступают они уже под осень, когда повеет в воздухе близкими холодами.

Известная мастерица запасть грибы впрок — белка. Опята и лисички, белые и подберёзовики она сушит, накалывая на ветки, подвешивая в развилки сучьев. Будто знает: зимой съела бы грибок, да снег глубок. Летом пинком, зимой блинком — вот они, грибы, каковы! Сотнями сушит белка грибы к зиме. Тащит их на первое же подходящее дерево, предпочтительно на сухостойную ёлку, — тут грибы на ветру и солнце быстрее высушит. Ничего, что они на виду: не ей самой, так другой белке достанутся.

Лесные мыши тоже любят грибы. Но им подай грибок поадрёней, чтоб на зубах похрустывал, чтоб шляпка не больше пуговицы!

Бывает, срежешь грибок — плотный он, нечервивый, а на шляпке следы мышиных резцов. И обидно, что до тебя кто-то успел побывать на заветном местечке и не столько обрал, сколько испортил грибы...

Лоси, проведая о грибах, выходят из болот на опушки, где много сыроежек и рыжиков. Впрочем, лось не брезгует никаким съедобным грибом. Хватает грибы кряду, подбирает их подчистую.

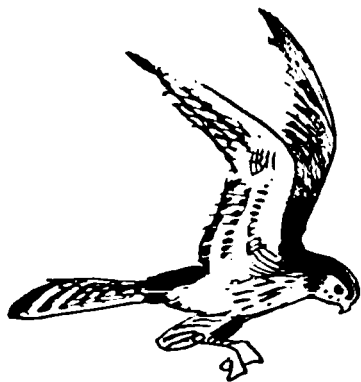
Другой большой охотник до грибов — бурый медведь. С весны, когда появятся первые сморчки, до поздней осени он и сытый гриба не минует.

Сам же я считаю лучшим грибознаем зайца. И вот какой случай привёл меня сделать такой вывод.

Дело было осенью: уже копали картошку. Запозднился я на охоте, смеркалось, когда вышел к бору, откуда было до деревни рукой подать. Когда-то в старину здесь пахали, однако песчаная земля плохо родила, урожаи были низкие, и поля забросили. С годами по межам поднялся березняк, сгладившиеся борозды заросли соснами.

Шорох палых листьев под моей ногой выпугнул из березняка зайца. Косой близко подпустил меня, и я успел заметить, что он копался под берёзами. И дёрн лапками в нескольких местах расчесал, и ямок вырыл порядочно. Что же это такое? Я нагнулся и в одной ямке подобрал... картофелину. Да, да, тёмный, землистый комок из заячьей копанки был точь-в-точь как картофелина. Есть такое растение — заячья капуста. Почему бы не быть и заячьей картошке? Правда, картошина чуть сморщена, да, видно, в земле перележала: задержался косой с уборкой. Он же лопухий, какой с него спрос!

Ну, а всё же: что это на самом деле заяц выкопал? Подземный гриб трюфель. Редкий в наших местах гриб, о нём мало кто знает. Охотники называют его «паргой». Но заяц-то каков — грибы и под землёй чует!



ДОЗОР В ПОЛЯХ

Со всех сторон видна столетняя берёза среди полей на взгорке. Горюнит глаза прохожим, посохла на корню. Прутья опали, кора отстала — дребезжит при порывах ветра. Ствол в грибах-трутовиках, напоминающих огромные лошадиные копыта.

Один раз на берёзу взгромоздился орёл-беркут. Нахохлившись, он немигающим взглядом провожал солнце. Зажатая в крючья лап, мышь пятнала кровью белый сук, на котором угрюмо сутулился беркут.

В синие сумерки я спугнул с берёзы сову. Она поплыла над рожью, скогтила на меже жалобно пискнувшую полёвку и возвратилась обратно на дерево. Села сова и заслонила жёлтый, как топлёное масло, диск луны.

Чуть свет берёзой овладевали её завсегдатаи — рыже-пёстрые канюки. Их неподвижность могла обмануть. Сидит канюк-сарыч на обломанной вершине, вроде дремлет, отдавшись солнечному покою полей, безучастный ко всему. Внезапно птица распахивает крылья. Плавный круг, отлогое пикирование в хлеба, и ещё один грызун — расхититель зерна — схвачен!

Днём рожью пролетал сорокопут — пегой, сорочьей масти, с длинным сорочьим хвостом. Обычно его с гомоном оравой сопровождали птички, и он, как вор, юлил между кустами, стлался низко над землёй.

Я видел, как сорокопут носил на берёзу и расклёвывал зелёных кузнечиков, выслеженных с высоты дерева.

Непостоянен сорокопут в добрых делах! Ему бы, крючконосому, всё вредными насекомыми да мышами питаться, а он летом лазает по чужим гнёздам... Недаром же его преследуют мелкие птахи!

На поле пришёл самоходный комбайн — жать и молотить рожь.

Невесть куда пропали с берёзы сарычи и сорокопуты. Одни пустельги, ныряя в полёт с берёзы, шныряли над колосистыми волнами хлебов. Порой они, быстро взмахивая острыми соколиными крыльями, замирали — «тряслись» на месте. Они выжидали. Выжидали, пока подойдёт красный грохочущий комбайн ближе и своим шумом выгонит из жнивья мышей.

Обедать жнецы уходили в деревню. Тогда пропадали пустельги. Посты на берёзе снова занимали сарыч, или сорокопут.

Птицы — истребители грызунов — как часовые, стерегли поля, и сухая берёза верно служила им сторожевой башней.



ОБЫЧНОЕ ЗАДАНИЕ

Где-то на Севере, на границе тундры и хвойной тайги, есть аэродром. Сверкающим громадам тесно на земле, закованной в бетон, им небо — родная стихия, и, распластав крылья, дрожат они от нетерпения, грохотом моторов рвут воздух, напоминая собой стрелы, нацеленные за линию горизонта.

Мчатся по тундре нарты, ненец криком и взмахами длинного хоря погоняет оленей, поёт тягуче о том, что он один в снежной, завьюженной пустыне... Плывёт судно в льды и туманы... Среди скал пробирается отряд геологов; кругом горы, мох, каменные кручи... И не знают люди, что над ними в вышине, где вечно ясно небо, со свистом вспарывая воздух, несутся крылатые корабли. Им незнаком покой, они всегда на страже...

А весной в посёлке аэродрома появились ласточки, налепили под крышами гнёзд, и все им были рады — взрослые и дети.

У маленькой Светы папа — военный. Она смотрела на ласточек в папин военный бинокль и ребятам давала посмотреть. Ласточки у Полярного кру-

га — это многое значит. Они с Большой земли, где в июне не выпадает снег, можно купаться в реках, загорать и бегать босиком; там нет голых болот с их комариным зудом, нет чахлых, заморённых ельников лесотундры.

Лётчики, солдаты аэродромной службы, просто мамы и папы, глядя на ласточек, говорили:

— А вот у нас... — и вспоминали те места, где прошло их детство, самые милые, как известно, места на земле.

К концу лета ласточек в посёлке прибавилось. Летуны были неугомонны: шёл боец на пост — видел ласточек, возвращался белой солнечной ночью пилот домой после задания — и его у порога дома встречал ласточий щебет.

Если небо хмурилось, начинало холодать, то ласточки отсиживались на чердаках возле печных труб, и без них тоскливее становилось в посёлке.

Наступала осень. Она приближалась неслышными шагами, вкрадчиво — при солнце и ясном небе. Сперва она захватила болото, позолотила карликовые берёзки, в алый и лиловый цвет расписала кустики голубики. Но в посёлок зайти как бы не решалась, и топольки, лиственницы зеленели, как летом, клумбы пестрели резедой и анютиными глазками, как летом.

Ласточки закладывали крутые виражи над крышами, беспечно вились, словно купаясь в небесной голубизне. Присаживались на провода и болтали о чём-то своём, и не похоже было, что они готовы к дальней дороге в отлёт. Быть может, они не знали времени отлёта, так как впервые вили гнёзда в этих краях?

Стужа со студёного моря пала внезапно. Поплыли в воздухе белые хлопья. Снежинки таяли,

коснувшись земли и крыш. Ласточки из посёлка пропали.

Было сыро, холодно, однако ребята пошли в ближний лесок за брусникой. Света увязалась за ними. Мала, но её брали с собой с охотой. Потому что не рёва какая-нибудь. И папа у неё ого!.. Кто из ребят не знал, сколько фашистских самолётов сбил за годы Отечественной войны лётчик-истребитель Белов! Он сражался под Москвой и на Волге, воевал в берлинском небе, он горел в самолёте дважды, и лицо у него в шрамах, а на груди Золотая Звезда.

Светкины чёрные глаза, как радиолокаторы. Это она нашла в траве под кустом мокрую дрожащую ласточку. Света спрятала её в рукавичку и дышала на неё, отогревала, пока принесла в посёлок.

Ласточку поместили в картонную коробку, обложили ватой.

Она была ненасытна. В поисках мух, мошек и комаров ребята с ног сбились. Ох недаром у ласточек быстрые крылья!

Ей скормили пятнадцать мух и мошек и одного паука, а ласточка всё просила добавки, разевала клювик и закатывала глаза.

Света не плакса какая-нибудь. Раз пятку располела о сучок, йодом мазали — слезинки не проронила.

Сейчас Света была вся в слезах.

— Да-а... она с голоду умирает! Видите, глазки закатывает!

Ласточка закатывала глаза и дышала, казалось ребятам, реже и реже.

Помрёт она без комаров и мух...

Плыли за окнами белые хлопья. Снежинки на-

поминали парашюты. Наверно, зима высаживала десант, давала бой лету и теплу.

И накричались ребята досыта, и поспорили крепко, пока пришли к единодушному мнению.

А на аэродром их не пустили: нельзя, военный объект, а вы, граждане, без погон.

«Граждане» галдели наперебой. Света громче всех.

Дежурный офицер, который всех их знал в лицо, смеялся и затыкал уши. Он позвонил Белову, что-то доложил вполголоса и подал телефонную трубку Свете.

— Папа! — закричала Света. — У нас ЧП, папа!

«ЧП» — значит «чрезвычайное происшествие».

Чуть спустя генерал подъехал к проходной аэродрома на зелёном армейском вездеходе. Он был в кожаном реглане, в унтах — сегодня он поднимал в воздух свою часть на боевые учения.

— Что за ЧП, Светлана? Говори быстро!

— Вот... — подала ему Света коробку с ласточкой. — Она отстала, папа, ей надо своих догнать. А наши самолёты везде летают...

Генерал нетерпеливо повернулся к дежурному:

— Вы, лейтенант, что-нибудь поняли?

— Так точно! Этот груз... — Дежурный офицер, вытянув руки по швам, скосил глаза на коробку. — Этот груз с попутной машиной отправить в южном направлении... Можно, товарищ генерал? — закончил он несколько смущённо.

Генерал Белов обвёл ребят взглядом. Что-то дрогнуло в его суровом, покрытом шрамами лице, на седые виски набежали морщинки.

Ласточка сидела в коробке смирно и доверчиво.

— Так. Ясно! — Улыбка тронула и твёрдые обветренные губы генерала. Он посмотрел на ласточ-

ку, повертел коробку в тяжёлых руках, привыкших к штурвалу самолёта, и, отвечая своим мыслям, задумчиво произнёс: — И тут жизнь. Мы на страже всей жизни, какая есть на земле. Нахожу, задание обычное.

Офицер просиял.

— Точно так, обычное! — и незаметно сделал знак ребятам бровью: не робейте, с вашим делом полный порядок.

— Папа, не забудь ей подорожники. — Света, привстав на цыпочки, подала отцу в руки спичечный коробок, в котором жужжали мухи. — Мы по всему посёлку собирали и узнали, для чего ласточке быстрые крылья.

Генерал шагнул к машине, сел рядом с шофёром. Коротко приказал:

— Прямо!

Зелёный «газик» промчался в ворота, и часовой с автоматом опустил за ним шлагбаум.

Далеко, у самого горизонта, расстиралось бетонное поле. Рёв моторов напоминал гром...

Скоро один за другим оттуда стали взмывать краснотрёхзвёздные корабли со скошенными назад крыльями...

Вечером, когда горели фонари, генерал Белов вернулся с учений. Машину он отпустил и шёл пешком. Он подозвал ребят, игравших во дворе, шутливо приложил ладонь к козырьку:

— Задание выполнено!

Потом добавил, глядя на их тёплые пальтишки и замотанные шарфами шеи:

— Детвора там, между прочим, ещё в майках бегают.

— Папа, а где теперь наша ласточка? — закричала Света.

Генерал Белов улыбнулся, ничего не сказал, только расстегнул планшет и вынул пальмовую ветку. От её зелёных-зелёных листьев пахло солнцем, пахло южным тёплым морем.



ЗОЛУШКА

Ручей журчал у подножия елей и берёз. Вился над водой прозрачный лёгкий парок, бисером оседая на перистые папоротники, зелёные хвощи.

Воркотня ручья в лесной глуши обладает покоряющей силой. В бойком говорке воды, омывающей корни деревьев, можно, по-моему, услышать всё — шум верхового ветра, приглушённый счастливый смех, звон капли, гомон птиц и голос далёкого друга...

Утренний туман рассасывало, в небе заголублили бездонные промоины. Старая ель качнула острой вершиной. Скрипуче заколыхались её тяжёлые ветки, точно старое дерево вздохнуло во всю широкую зелёную грудь и потянулось. Пламенем вспых-

нул пролетевший сквозь полосу света берёзовый лист и спрятался в траве.

В лесу раздались шаги. Сапоги гремели и скользили по мокрым корневищам.

К ручью вышла девочка в фуфайке и белом платке, завязанном под круглым подбородком. Поникие папоротники приходились ей по пояс. Она тащила большую корзину — тяжесть ноши тянула её в сторону. Девочка перегибалась и подхватывала корзину повыше. У девочки было смуглое лукавое лицо, румяные щёки, бойкие синичьи глаза, вздёрнутый толстый носик; за такие носики девочек здесь зовут смешно и ласково «пиковками». У неё из-под платка торчал кончик пушистой кошечки, рукава большой, не по росту, фуфайки были по-рабочему закатаны.

Девочка остановилась у тонкой берёзки. Не спуская глаз с жёлтой вершины деревца, опустила в мох корзину. И покачала берёзу — шуршащие листья осыпали её. Девочка засмеялась и поёжилась, передёрнув плечами, — прохладные брызги с ветвей попали за ворот.

Ей понравилось осыпать листья с берёз. Её занимало, как падали они на её плечи и голову. Она отрясла ещё одну берёзу и подставила подол ситцевого платья под золотой дождь. Она ловила листья, запрокинув вверх голову, полуоткрыв маленький рот с белыми зубами.

Набрав в подол нарядных листьев, девочка горстью стала бросать их в ручей. Течение подхватывало и кружило разноцветные кораблики. Они стремительно уплывали в заводь, застревали у мокнувших в воде папоротников, цепляясь за голые чёрные сучья ели, нависавшей грузным мостом над вёдой.

Я кашлянул. Девочка выронила листья.

Боком-боком отступила она к корзине, подняла её с земли.

— Я тебя знаю,— проговорила она.— Ты охотник, живёшь у моей тётки на квартире.

— Но я не знаю, кто ты.

— Настюшка я,— потупилась девочка.— Я с другого конца деревни.

— Что ты в лесу делаешь? По грибы ходила?

— Ну да! Я золу собирала. На участок.

— На какой участок?

— Известно, на мичуринский! Или перед школой огорода не видел?

Так мы и разговорились.

Я перенёс через ручей корзину, всерьёз подивился её тяжести и этим окончательно расположил к себе девочку.

— За два километра бегала! — тараторила Настюшка, усаживаясь напротив меня на трухлявый пенёк.— В Белом бору дрова для ферм рубят, сучья на кострах жгут. Золой та-ам! Страсть как много! А закапает весной с крыш — понесутся наши ребята по деревне с вёдрами золу кланчить! «Дайте хоть немножко, на загнетках подметите, в печурках поскребите». Что на колобок собирают! Страх! А зачем весны дожидаться?

Я согласился, что сидеть сложа руки, пока над тобой не закапает, проку мало.

— А что ты станешь выращивать? — спросил я.— Зола хороша под картофель...

— Ага,— живо откликнулась Настюшка,— я и буду под картошку.

В этой шустрой девочке-говорунье трудно сейчас было узнать «пиковку», игравшую берёзовыми листьями.

— А ты, дяденька, в Москве бывал? — быстро спросила она.

— Бывал, конечно.

Глаза моей собеседницы заблестели; она так и подалась ко мне.

— И на Выставке достижений вы были?

Настюшка перешла на уважительное «вы».

— И на выставке.

— А я нет,— грустно отозвалась Настюшка. Прикрыла рот концом платка, пригорюнилась.— Всё из-за Лены да Мани. Сёстры... А я попросилась на участок, так не пустили... Сёстры!.. Ты, говорят, маленькая, без тебя, говорят, обойдёмся. А какая я маленькая, когда Клавка в пятый класс ходит и то меня ростом меньше! Клавка на участке работала, а я нет. Их — Клавку да моих сестёр — рожь в Москву вывезла. На выставку!.. Приехали из Москвы с медалями. Значков понакупили. Теперь и воображают... Страх один!

— Д-да,— посочувствовал я. — Получилось, как в сказке: «Жили-были две сестрицы, третья Золушка была...»

— Ничуть я не Золушка,— надула губы Настюшка. Отвернулась и, послонив концы платка, потёрла щёки и подбородок: не выпачканы ли в золе?

Неумолчно плескалась в ручье вода, шевелила травы на дне, будто расчёсывала их. Шелестели сухие листья и падали, падали, с сухим шорохом задевая за сучья и вспыхивая в полосе света, косо льющегося из-за чёрных елей.

— Я чего-то умею... в-вот! — Настюшка уже улыбалась.

— Ничего ты не умеешь... в-вот! — подзадорил я её.

— А это что? — сорвала она зелёную осоку ловким, неуловимо быстрым движением. — Осока, да? Зелёная, да?.. А сейчас будет серебряная. Ну, отвернитесь!

Если тебя ребяташки принимают в игру, — это знак высочайшего к тебе доверия.

Я послушно отвернулся.

— Теперь глядите.

Зелёный, с острыми длинными листьями стебель осоки девочка умакнула в воду ручья. И он засверкал, подёрнутый серебристым налётом. Серебряная трава в ручье...

Я представил, как Настюшка бежала сквозь туманный лес за золой, как потом она тащила тяжёлую, вытягивавшую руки корзину, и было ей страшновато одной в лесу. А корзина была тяжела — старая, разошедшаяся корзина, тяжёлые рыжие с заплатками на голенищах сапоги.

— Настя, ты, наверно, сказки не любишь? — спросил я девочку.

— Почему? — Она бросила осоку в ручей. — Очень даже...

— Хочешь, я тебе одну расскажу?

Настюшка подпёрла кулачками щёки и уставилась в меня внимательным немигающим взглядом.

Сознаюсь, что сказку я тут же придумал, не сходя, что называется, с места.

Я говорил, Настюшка слушала. Я говорил о Великой Стране, чудеснее которой нет на свете: над ней не закатывается солнце, там зима и лето, весна и осень бывают сразу. Там стоят сёла в зелени садов, там цветут города с мраморными дворцами под куполом такого прозрачного неба, что, если всмотреться, можно увидеть звёзды. Алые звёзды, сияющие всему миру...

— Вот в этой стране живёт девочка — не обыкновенная, а волшебница... — Я понизил голос до шёпота.

— Правда? — круглыми глазами посмотрела на меня Настюшка. — А как её зовут?

— Допустим, что... Настей.

— Будто так! — просияла Настюшка. — Так я и поверила! А почему эта девочка — волшебница?

— Узнали про это люди очень даже просто: где ступает её нога, там вырастают цветы. Понимаешь?

— Понимаю, — сморгнула Настюшка. — И зимой?

— Зимой, наверно, не вырастают, а весной обязательно...

Я умолк.

— Вся сказка? — наморщила Настюшка бровки, мокрые от тумана. — Да она без конца!

— И у хороших сказок так бывает: начало есть, а конца нет.

Настюшка встала с пня, взялась за корзину.

От моего предложения помочь она отказалась: сама не маленькая. И пошла: не по тропе, а напрямик к деревне.

Зола пылила в щели между дранками. Значит, будущей весной или летом там, где ступали рыжие курносые сапоги Настюшки, поднимутся особенно зелёные травы, распустятся лесные цветы — нежные и пахучие, на тонких прозрачных стебельках.



ЧАРУСА

Болота, болота... Их плоские равнины в поросли багульника, ржавой осоки, белоуса. Корявые сосны наводят тоску своей уродливостью. Метутся водянистые тучи, моросит холодный дождь. Бесприютно, уныло вокруг.

Но и болото пригоже в цветении лета в солнечный день: мягки мхи, перевитые ползучими травами, прядями клюковника, пропитанные студёной влагой. Радуют россыпи морошки, кусты спелой голубики. Вода озерце-луж голуба и ласкова, если смотреть издали. Зовёт к себе путника, измученного ходьбой по болоту, пышная зелень моховых берегов: приди, приляг!.. А прилечь попробуй-ка! В бездонную пропасть уходят «окна» воды. Черна, как тушь, эта вода. Кружатся в ней, колеблемые таинственным течением, листья, стебельки трав. Коварны мхи-зыбуны. Ступи — податливо разверзнутся под ногой. Неосторожное движение, растерянность — и сомкнутся над головой мхи, бесслед-

но похоронят под собою. Чибис, хлопая крыльями, испуганно сорвётся с травяной кочки: «Чьи-вы? Чьи-вы?»

Некому дать ответ.

Светит равнодушно солнце.

Молчат чаруса — непроходимые топи.

...На болоте Серый Мошок по утренним и вечерним зорям в мае яро токовали тетерева.

Я сложил из елового лапника «затулу», как называют шалаш местные охотники. Изрядно поработал — затула получилась на славу. Морозные утренники были в ней не страшны, так как я набил её сеном, принёс полушубок и валенки.

Старый лесник Евстигнейч предупреждал меня:

— Худое место выбрал. На Мошок никто не ходит. Смотри без лыж не укажи: на вешний наст худая надежда. Вот и майские праздники прошли. Застигнет в затуле ростепель — журавлём закурлыкаешь! Летом из чистой гибели я там выручил лосёнка. Мошкара его заела. Забрёл в топь, глупый, и увяз по уши... На ремне его вытащил. Неделью поясницей маялся: тяжёлый лосёнок-то был. И это ты смекай: токовище-то на Мошке. Косачи не глупы, выищут местечко — на-поди, не подступишься!

Старик пощипывал жидкую бородёнку, заволакивал себя чадом махорки-самосада из трубки с калиновым мундштуком. Один глаз его слезился, был красен и тускл — память о несчастном случае, когда от сильного заряда в руках тогда ещё молодого Евстигнейча разорвало древнее, от дедов, ружьё-шомполку. Другой глаз светился по-молодому жёлтым, как у рыси, ободком.

— Разумей — старый ворон мимо не каркнет. Не нужна ведь тебя в топи гонит. Лукавые они!

У меня и поныне сердце замирает при воспоминании, как я бежал на лыжах по болоту, и одна неверная корка наста отделяла от пропасти. Лёд на лужах хрустел, наст прогибался. Интересы ради я пробил мёрзлый снег шестом. Выше меня вдвое, длинный шест ушёл в болото легко и не достиг дна. У ног растеклась мутная вода. Подо мной было не что иное, как мёртвое, заросшее мохом озеро.

Пасмурным утром я подстрелил из затулы косача. Тетерева токовали слабо: мешал им дождь, зарядивший с ночи. От крепкого наста «сковороды» помина не осталось. Зачернели по болоту обнажённые кочки, снег с них как слизнуло. Лёд злое еще синел, выступила на нём вода.

Довольно, поохотился! Теперь забота, как отсюда выбраться. Я покинул шалаш. Тетерева разлетелись. Прежде я побегал у шалаша, чтобы согреться: застыл, валенки промочены. А до косача близко. Вот прыгну на ту кочку, с неё — на другую... Бр-р! Озноб до костей прошибает! Ничего, дорогой согреюсь. Я резко оттолкнулся, прыгнул... И сразу провалился по грудь! За кочку я принял комья всплывшего торфа, своей тяжестью пробил непрочный ледок над топью. От дикого холода зашлось дыхание. Я барахтался, разгребая ледяное крошево. Студёная вода охватила тело, словно тисками.

В кровь кусая губы, я отчаянно рванулся из моховой западни. Топь не выпускала. Засасывало. Густая грязь, смешанная со льдом, обволакивала, налипала, тянула вниз, всё вниз... Чаруса! Я дышал хрипло. Губы спеклись. На лбу выступила испарина. Я ощущал, что опускаюсь в зловонный провал. Да, мне стало чудиться, что торф, пропитанный влагой, заледевшие комья мха противно пахнут. От этого запаха тошнило.

В минуту опасности, на краю гибели — а мне случилось-таки бывать в переделках! — в эти мгновения сознание останавливается на каких-то незначущих мелочах. Дождь сыпал теперь попеременно с хлопьями сырого снега. Я дёргался, пытаюсь вырваться из трясины, и только глубже погружался в неё, а сам думал: «Почему снег кажется жёлтым?» Потом понял: взошло солнце. Достигая чёрных кочек, делался снег белым и таял. Снег валил хлопьями из мутной лиловой тучи. Сталась над самым болотом непроницаемая сырая мгла, из которой сыпало лиловым снегом, становившимся жёлтым, потом белым, когда хлопья достигали кочек. Я видел перед собою кустик багульника. С него капало. От удара капель нижние листья багульника зябко вздрагивали...

Между тем, сдирая ногти, цеплялся я в мёрзлую кочку; наконец подмял и лёг на неё грудью. Словно живая, она выскользнула из-под меня, глубже погрузив в иссиня-чёрный ил и коричневую, пронизанную ледяными иглами тину.

Колыхалась, булькала, выпуская пузыри болотного газа, трясина. За каждый судорожный рывок я платил тем, что ниже опускался в топь.

Найти бы опору для ног, и я спасён!

Зябко вздрагивали подвёрнутые вечнозелёные листья багульника. С него текло, с жёсткого, как из проволоки сделанного болотного растеньица...

А опоры нет! Хлопья снега залепили глаза. От холода коченели щёки. И почему-то хотелось спать. Уснуть и, проснувшись, узнать, что всё это сон — болото, чернеющее обнажёнными из-под снега кочками, лиловый снег. липкий бездонный провал... Нет, так не бывает! Я теряю самообладание — в этом всё дело.

Пальцы свело. Я не почувствовал боли, когда ушиб их о пенёк, скрытый в кочке.

Мне стало страшно. Страшно, что и эта кочка обманет подло. Обмирая, я подтянулся к ней и вцепился в пенёк. В нём было спасение. Затрещали подгнившие корни.

«Крепись, милый!»

Будто пенёк мог понять меня или хоть услышать... И тут ноги встали на твёрдую почву, вернее, на лёд. Под слоем мха был прочный лёд. Теперь-то я знаю, что это значит — твёрдая опора!.. И как отчаянно запылал шалаш, подожжённый мной, чтобы обсушиться у огня!

И как плясал я у костра: от радости ли избавления, от холода ли — неведомо мне, от чего больше...

В другой раз я попал в чаруса осенью. Дальний лес прельщает охотника не меньше, чем путешественника неизведанные страны. Невозможно миновать еловый остров, лохматой громадой лежащий среди мшары! И я бродил от острова к острову, порой забираясь в дикие дебри.

При переходе по болоту путь преградила мокрая низина, кротко сиявшая бесчисленными лужичками. Островки мха, перешейки, протоки... Настоящий лабиринт! Из коричневого торфа кое-где пучками пробивалась осока, краснел кукушкин лён. Этот мох сух и упруг, как ворс дорогого меха. Но где кукушкин лён, там и зыбуны-чаруса. Верная примета!

Э, рискну... Я пошёл, проверяя себе путь шестом. И забрёл... Кругом вода!

Остановился вздох перевести — выше колен увяз. Сапоги залило. Жидкий слой мха трясся подо мной, что студень: грозил прорваться.

Повернул я обратно, зачавкал сапогами по собственным следам.

Среди тощих, кривых сосенок на болоте вдруг что-то затемнело, мало-помалу вырастая в фигуру стройного зверя. Я присел за сухую кочку...

Лось шёл спокойно. Словно плыл — так легко нёс грузное мускулистое тело. Там, где я тонул во мхах, он скользил, как по паркету, и тяжёлые широкие копыта сухо пощёлкивали. Тёмная, сверкающая шерсть, горячие влажные глаза, горбоносая крупная голова с разъятыми трепещущими ноздрями и эти белые сухие стройные ноги, этот венец рогов — да, дик и прекрасен был лесной гигант!

В трясину лось вошёл с ходу, расплескав зелёную, покрывавшую её плёнку. Острые копыта вонзались, пробивали торф. Лось пополз на коленках, брезгливо и надменно оттопырив нижнюю губу.

Эге, и его топь поставила на колени! Но мощным рывком лось выпростался из трясины. С секунду лежал неподвижно на боку, потом, ударяя длинными ногами, как вёслами, полез к краю чаруса.

Он выбрел на сухое место, отряхнулся, по-лошадиному всхрапывая, — с шерсти полетели ошмётки грязи.

Вот кому чаруса не преграда!

Я залюбовался гордой осанкой лося. И вдруг поставил рядом с ним щуплого Евстигнеича — с ружьём за плечами, с неизменным батожком в руке. В латаной стёганке, кирзовых сапогах. Сивая борода ветром задута на сторону...

Померк спесивый великан. Не тягаться ему с Евстигнеичем! Мало того, что Евстигнеич сам не увяз в проклятых чарусах, — он ещё и лосёнка от гибели спас! Старичок с батожком в руке...



...мощным рывком лось выпростался из трясины.



ФИЛИН НА ТОНЕ

Перейдут синие сумерки в темень, закачаются на дне омутов светлячки звёзд — этим поздним часом появляется над рекой Пажей филин. Большая, тяжёлая птица бесшумно плывёт, следуя извивам реки. То спустится низко и тушит тенью отражения звёзд, то взмоет вровень с вершинами деревьев. В рыхлое, ржавчато-белёсое перо спрятаны когти страшных лап, плотно сомкнут острый крючковатый клюв. Рогатые уши ловят на прицел лесные шумы: вот лось на лёжке вздохнул со сна, вот мягко спружинил мох под вкрадчивым шагом рыси, вот сухо прошуршал, считая сучья, падающий лист.

Звёзды заблестали ярче. Окутанная облаком, показалась луна. Пали в лесу тени; воздух, осиянный лунным светом, стал дымчато-прозрачным, и пригоршней алмазов проблеснули капли росы в паучьей сети.

Филин примостился на валун посреди водопада. Ворочал шей, пучил налитые зелёным огнём глазищи. Брызги воды кропили его перья, вынуждали птицу переступать лапами и встряхиваться. Однако, выбрав место поудобнее, филин застыл истуканом, будто окаменел. Бурлил, побрякивал

мелким камнем водопад, расчёсывал пряди чёрного жёсткого мха. Изредка в говор струй примешивался новый звук — это форель, обдирая чешую о камни, пробиралась через завалы гранитных обломков, через пенистые водопады. Шла форель против течения в заветные омуты. Шла на нерест. Порой рыбы, словно в нетерпении, выскакивали внезапно из воды. Свиваясь кольцом, плясали на мелях, прежде чем попасть на глубину — в расселины между камней. Филин ждал... Он видел стройные тела форелей, их мокрые спины и бока... и ждал.

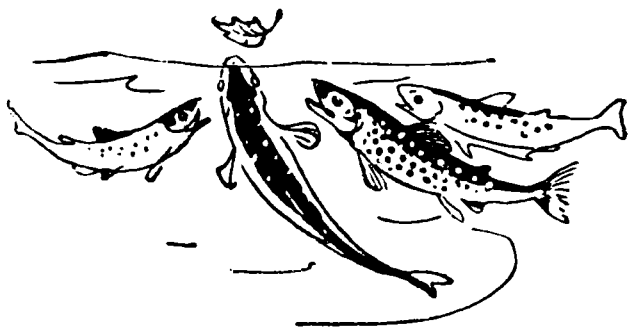
Плеснула форелька рядом с валуном. Филин мгновенно распахнул крылья. Готово, поймал...

На трапезу филин отлетел к берегу, заросшему ольхой и папоротниками. Форелька попала мелкая. Сжав с силой лапы, филин насквозь проколол её когтями, так что в раны пролилась крупными зёрнами икра. Давясь, мотая кошачьей головой и смаргивая веками, филин проглотил форельку целиком.

Затем он снова пересел на гранитный валун.

Форели больше не плескались...

Подобно видению, скрылась в хвойных потёмках диковинная рогатая птица. И остались опять наедине друг с другом лес да Пажар-река. Падая водопадами с чёрных гряд камней, дробя в себе острые лучики звёзд, бурлил перекат, вызванивал на разные голоса. Река точно разматывала нить ещё одной сказки, каждой струйкой своей оповещала мир лесной о рогатом чудище на крыльях, о том, как оно накрывало звёзды на днах омутов, как, жадно давясь, глотало их вместе с прекрасными серебряными рыбками, а потом обернулось тенью и уплыло по прозрачному дымчато-голубому воздуху...



ФОРЕЛЬКИН „ВОЛЕЙБОЛ“

Тёмен омут, оттого что застекленело на нём отражение старого ельника. Зелёная темень кое-где разбавлена ослепительной белизной, тронута багрянцем и золотом: у самого берега выстроились две-три берёзы и осины. Горят берёзы, плещут со стволов молоко, с ветвей — золото... Кусочку синего неба с кромкой сиреневой тучи тоже нашлось место в омуте, как и блёклым отражениям папоротников, серых прибрежных валунов...

Но удастся ли мне увидеть форель? По приметам, подходящий для неё омут.

У форели спинка и верхний плавник в дымчатом накрапе, чешуя — серебро с чернью, глаза мерцающие, как луны, и россыпь оранжевых звёзд по округлым бокам. И собой она чудо как красива, эта рыбка, а уж резва, до чего бойка! Зато и скрытна, и недоверчива... Прячется под камнями, под подмытыми берегами. Не выманить её, чтобы показалась белому свету во всей своей красе.

Склонилась к омуту черёмуха, опустила ветки в воду. Будто выбежала она из лесу летним зноем, тронула веткой воду да так и осталась: купаться в омуте холодно, обратно идти неохота...

Села на берёзу синица-гаичка. «Пинь-пинь!» А хвостиком непоседа круть да верть, верть да круть. Попищала гаичка и давай о сучок клюв чистить, белые щёчки чесать. Просыпала охалку золота прямо в воду! Держались листья едва-едва, того и ждали, чтобы упасть и закружиться.

Кружась, порхая, опускались листья на воду. Едва касались они поверхности омута, как стрелой вылетали из-под берега, блестя чешуёй, форельки. Ловко же они поддавали листья головой — листья даже подскакивали вверх.

Начисто забыв об осторожности, играли форельки упавшей в омут листвою. Волейбольный матч, и только!

С листьев они сбивали паучков да комаров — вот в чём секрет «волейбола» форелек.

Ни одного листка не оставили они без внимания.

И вновь попрятались рыбы...

Я потихоньку, стараясь остаться незамеченным, ушёл в лес. Отряс там берёзку, другую, набрал ворох листьев и пустил их с переката в омут. Корабliками пустились мои листья; скоро омут стал пёстрым от листвы. Только не ожил он, по-прежнему был пуст. Подачу я не рассчитал. У форелькина «волейбола», видно, свои правила: чтобы поиграть, порезвиться, форелькам нужен не тот лист, что плывёт, а тот, что сверху валится!



ЛАКОМКА

Стёпин лог. Отвоевал это место у леса семьдесят лет назад мой дед Степан, и с той поры осталось за логом его имя.

Чаща у лога дика и громадна. Вступишь в неё— и ощущение необъятности этого зелёного хвойного мира, полного невнятных шорохов, шёпота листьев, охватит тебя и уже не отпустит целый день.

У просеки—основного моего охотничьего маршрута—я, к своей досаде, обнаружил разорённое гнездо земляных шмелей. Я разведал его летом. Дело прошлое: слюнки текли, когда я подходил к знакомой ели, где под корнями всё лето благоденствовали шмели. Мёд их прозрачен, как родниковая вода, душист и сладок—мёд в восковых горшочках. Мёд и вкусный хлебец из пыльцы цветов. И вот ни мёда, ни хлебцев...

Подозрение пало на куницу. Её следы попадались у ручья. Позднее удалось вспугнуть зверька: когда в треске сучьев я ломился сквозь заросли вереска и крушины, он выскочил из дупла и стремглав взметнулся на старую осину.

Куница оседлала толстый гладкий сук, села не

вдоль а поперёк его и свесила хвост. Она без страха взидала сверху на человека с ружьём и в бинокль казалась мне совсем близкой. Будь в том нужда, я бы пересчитал щетинки в её усах. Чёрные блестящие глазёнки стреляли по мне, в зрачках дробились зелёные искры. Куница, точно напоказ, выставляла яркое жёлтое пятно под горлом. Оно походило на блик солнца.

— Сознавайся, проказница, ты мёд съела?

При звуках моего голоса куничка подобрала хвост и наострила уши.

— Сладкоежка,— отчитывал я её,— без мёда шмелей оставила. Не стыдно тебе?

Она отрывисто проворчала.

— То-то! Дрожишь теперь за свою шкурку? Дрожи, дрожи...

Куница ни с того ни с сего вдруг зевнула, до дёсен обнажив белые острые зубки и как-то по-кошачьи выгибая розовый язык.

Да, ей скучно было слушать мои нотации!

Куничка очень любит мёд. И белка, и рябчик, порой глухарь или заяц становятся добычей ловкой лесной хищницы. Однако она всегда не прочь отведать мёда диких пчёл или шмелей. Лакомка— что с неё возьмёшь!

Наступила осень. Грустный запах палой листвы стоял в затишках, не выветриваясь, и усиливался к вечеру.

Вечером в погоне за тетеревами я вышел на поляну, поросшую кое-где крушиной и рябинами. Смеркалось, и на синей стене пихт красные рябины, сплошь в гроздьях ягод, проступали отчётливо и ярко. А на одной рябине сидела куница и спокойно, не морщась, щипала ягоды, хваченные первым заморозком.

О вкусах, известно, не спорят. И сладкий мёд, и горькая рябина кунице равно милы...

«Эх ты, сладкоежка!» Я бесшумно отступил с поляны в гущу кустов.



ПРОВОДНИЦА

За тёмным окном ветхой охотничьей избушки — ночь, звёзды и озеро. Затяжные дожди залили берега, и при накате волны слышатся за стеной плеск, тяжкие вздохи: «А-ах! А-ах!» Стекло кропят долетающие до окна брызги. Ветер завывает в трубе... Не снег ли сулитесь?

Спит Норик — молодой пёс-привереда, отказавшийся от роскошного, по всем рецептам приготовленного собачьего супика и скуливший до тех пор, пока не уделили ему колбасы с нашего стола. Спит Норик, откинув лапы. Порой он перебирает ими и взвизгивает: снятся псу пахучие следы дичи, шорох белок в косматых сучьях елей...

Оплыла свеча и погасла.

Мы — охотовед Борис Тимофеевич и я — сумерничаем. Коротаем время за разговорами. Зашла

речь о лисицах: что в природе они не кума Патрикеевна из сказок, однако отказать им в какой-то сообразительности нельзя, не греша против истины.

— Зверь занятный,— соглашался Борис Тимофеевич.— Превосходно уживается в северной тайге, в южных степях, даже в полупустынях. Встретишь лисицу и в притундровой зоне, и в горах. Условия обитания, как видите, не просто различные, а прямо противоположные. Стоит к этому добавить, что лисица не боится близости человека, живёт и на окраинах городов. Редкий зверь с ней сравнится в умении использовать опыт, приобретённый в борьбе за существование...

Он набил трубку табаком. Огонёк спички осветил красными бликами загорелое, с крутым подбородком и крупными волевыми чертами лицо. Лучшего спутника по лесным вылазкам, чем Борис Тимофеевич, и не знаю, высоко ценю его практическую сметку, его хладнокровие и выдержку. В самые трудные минуты Борис Тимофеевич спокоен, как сейчас вот, когда мы на привале в избушке, где в стену бьёт волна и ветер воет в трубе. А случилось переживать с ним опасные приключения.

Раз шли мы на глухариный ток. Без дорог, по компасу. Измотала нас тайга да под грозу попали, перемокли, да встретилось озеро на пути. Лёд синел, залитый лужами; у берегов чернели промоины. А обойти озеро невозможно, так как разлились бесчисленные впадающие в него ручьи. Борис Тимофеевич вырубил длинные шесты. Себе и мне. Выбрал место, где заберег — промоина поуже. Примерился, упёрся шестом в дно...

— Порхаем! — и запрыгнул на лёд.

За ним — я. Лёд предательски трещал, проги-

бался, был тонок и ненадёжен, источенный солнцем и дождями.

— Будем играть в лошадки... — сказал тогда Борис Тимофеевич. — Только беритесь поближе к середине шеста. Неудобно, но что делать?

Оседлали мы шесты. Как мальчики — палочки. Со стороны — забавляются дяди, в детство впали!

А нас никто не видел. Одни чёрные ёлки видели, как обломился подо мной лёд, и камнем бы я в воду, ни дна бы мне ни покрышки, да шест спас. Когда я провалился в промоину, то шест лёг концами на лёд, задержал падение. В сапоги я начерпал, но по шесту выбрался из полыньи на лёд вполне благополучно.

И на ток мы успели...

Я думаю, эпизод, как мы «играли в лошадки», даёт представление о моём друге. Уверен, в самом критическом положении он не растеряется, найдёт выход.

Трубка раскурена — жди от Бориса Тимофеевича рассказа.

— Так и на фронте с лисицами было, — продолжал он. — И там лисицы применялись к обстановке. Они не боялись охотиться на мышей у самого переднего края обороны, на перепаханных снарядами полях. Причём меньше страдали от шальных обстрелов, чем, скажем, зайцы. Косой, попав под огонь, носился как угорелый. Искал спасения в бегстве. Лисица, напротив, стремилась использовать укрытия, допустим, воронки от снарядов, залегала в снегу. Ну, будто заранее прошла боевую подготовку!

Борис Тимофеевич выдержал паузу, попыхивая трубкой.

— Одна такая опытная лиса-фронтоничка по-

могла нашей роте выполнить боевую задачу. При весьма сложных обстоятельствах, заметьте...

— Увлёклись, Борис Тимофеевич! — усмехнулся я. Хотелось его подзадорить. — Сложные обстоятельства... Боевая лиса... На басенку смахивает!

— Это былъ, — возразил он спокойно. — Частный случай, если угодно... Я тогда замещал командира миномётной роты, раненного в боях на Дону. Известие, что фашисты затевают внезапную атаку, застало меня в штабе батальона, куда я был вызван по другим, так сказать текущим, делам. Разведчики не выяснили часа, когда немцы обрушатся на нашу оборону. Рота моя, повторяю, была миномётной. При отражении удара врага на нас ложилась особая ответственность: немцы сосредоточились в глубоком овраге, и, пожалуй, кроме миномётов, их ничем подавить и рассеять было невозможно. Время дорого: я заторопился к своим.

Занималось утро. Возле сарая повар в переднике поверх полушубка подкладывал дрова в полевую кухню. Сидя на термосах, солдаты ожидали завтрак, чтобы нести его на передовую. В осиновом перелеске танкисты разогревали моторы своих машин.

Мела позёмка, было серо и уныло...

По утрам артиллерия немцев вела обстрел наших позиций в одно и то же время, хоть часы проверяй.

На этот раз немцы тоже не изменили привычке.

Снаряды ложились на дорогу плотно.

Что, если это — начало артиллерийской подготовки атаки?

Глинобитный дом, занимаемый связистами, вдруг поднялся вверх, в огне и чёрном дыму, и

рассыпался на куски... Значит, немцы вводят в дело тяжёлые орудия, и ясно — неспроста.

Короткими перебежками я попытался продвинуться вперёд. Белым слепящим огнём вспыхнул впереди снег. Горячей, душной волной взрыва меня швырнуло в кювет, комья земли пробарабанили по каске.

Определённо, дорога взята под прицельный огонь.

Добираться к своим в обход? Крюк большой, времени же у меня в обрез.

Напрямую бы рвануть — полем! Тоже нельзя. Поле заминировано. «Мины» — одно слово на доске, наспех прибитой к колу. Слово весомое. Мина — штучка из серьёзных, в ней смертей на десяти-х хватит...

И, как назло, снаряды на поле не падают.

Я пополз по дороге по-пластунски. От одной воронки к другой. Они были мокрые, из них не выветрило отравленный, зловонный воздух.

Дрожала земля, будто били и били по ней исполинские кувалды. Грохот стоял от взрывов; я просто глохнул. С визгом сеялись осколки, срезали придорожный бурьян.

Не уцелеть... А я же нужен там, в роте, живой!.. Наткнулся в воронке на убитого бойца. Знакомый парень, он состоял ординарцем при штабе, нёс пакет на передовую. Не с тем ли приказом, чтобы там были начеку, что немцы замышляют атаку? Я взял у него пакет, вынул документы — красноармейскую книжку, комсомольский билет и треугольник неотправленного письма домой. Письмо было ещё тёплое на ощупь. Мёртвые глаза солдата смотрели в серое небо; позёмка на белом как мел лице уже не таяла.

А кто из моей гимнастёрки вынет документы? Бьют и бьют снаряды и мины по дороге — спасенья нет...

Всё-таки я стал делать перебежки. Надо... надо мне к своим! Посудите: связь нарушена и посыльный с пакетом не дошёл!

Перед очередной перебежкой приподнял голову. На поле голубели пунктиром следы лисицы. Чем-то бесконечно мирным, родным повеяло на меня...

Борис Тимофеевич чиркнул спичкой. Сделал глубокую затяжку из трубки.

— Не знаю, что ещё так роднит человека с природой, как война,— произнёс он раздумчиво.— Стираются в памяти год за годом названия сёл и местечек, где воевал, а ромашку на бруствере окопа, запах полыни и чабреца, а стук дятла в лесу в разгар боя помню... До сих пор помню, с каким чувством смотрел я и на лисьи следы. Нет, они были не голубые, они были серые, с желтоватым отливом, с тем палевым оттенком, какой придаёт неровностям снега солнце, поднявшееся где-то за густой серой хмарью... Я встал и пошёл по минному полю по лисьим следам...

— Послушайте, это невозможно,—прервал я.

— А на войне только невозможное и возможно,— проговорил Борис Тимофеевич.— Старая солдатская истина.

— Объясните, пожалуйста!

— Да я тоже не сразу в толк взял, почему лисица прошла среди мин и жива осталась... Вам не доводилось ставить капканы? — спросил вдруг Борис Тимофеевич.

— На зайцев да, ставил.

— Зайцы что-о... У них нет того чутья! Перед

ловлей же лисиц, волков капканы выпаривают в золе, натирают хвоей или полынью — притушают запах железа.

Я поднялся на нарах.

— Вот вы к чему клоните...

— Да, к этому! — подтвердил Борис Тимофеевич. — Именно к этому, о чём вы догадались... А то, что на разминировании полей, даже городов — столиц европейских, которые мы освобождали, в сапёрных частях применялись специально обученные собаки, вам это известно?

— Да, знаю.

— Так вот и лисице моей служил миноискателем нос! Из-под снега — кстати, его было мало — чуяла лисица пугающий запах ржавого железа, тогда и обходила опасные места. Ей помогали глаза — зоркие, всё примечающие, звериные. Как бы ни были замаскированы мины дёрном и травой, но не от звериных же глаз!

Борис Тимофеевич потянулся:

— Поздно, заболтались мы... Давайте устраиваться на ночь.

Он зажжёт свечу. Седина на его висках заблестела серебром.

— Пойдите, а следы были свежие?

— Не очень, — без охоты отозвался Борис Тимофеевич. — Да позёмка мела... Пришёл я к своим весь в снегу. А снежок на висках с тех пор вот и не тает. Хотите верьте, хотите нет, но ведь я поныне помню каждый свой шаг по минному полю. И лисий след, которым я прошёл, так и стоит перед глазами... Впрочем, это к нашему разговору уже не имеет отношения.



СИНИЧЬИ КЛАДОВКИ

Сомкнутым строем, тесно стоят сосны с медными стволами, прямыми, как туго натянутые струны. Ударить бы по этим струнам — какой мощный аккорд потряс бы стылый воздух, какую музыку, дику, величавую, исторгнули бы мохнатые недра старого бора! И была бы эта музыка печальна, тоска прозвучала бы в ней по ушедшему лету.

Серебряной уклежкой просверкнул в струях переката узкий листок, упавший с ветки ивы.

Да нет, не играют, пуская по воде круги, быстрые уклеи. Давно залегли в глубокие ямы. И язи скопились по омутам, и лещи, и пескари. Затаились перед скорыми стужами.

Холодно, слякотно в обнажённых лесах.

А вот кому поздняя осень не безвременье — синицам. Стайками перелетают по просекам, опушкам леса, на горях. Свист, щебет, весёлый гомон... Ужели, думаешь, их зима не страшит?

Страшит, как же! Потому и заняты сейчас... заготовками. Они запасают корма на зиму. Бойкая, с воинственным хохолком на голове синица-гренадерка про запас прячет гусениц, коконы, яички бабочек. Запас, он кармана не тянет. Зимой, в лютую

стужу и бескормицу, гренадерка и крохотному яичку будет рада. Многие синицы подбирают с земли осыпавшиеся семена елей, сосен и носят в щели, под кору деревьев.

Осень, такое уж времечко: укуси пирожка да и в запазушку!



ЖЁЛТЫЕ ПОДОШВЫ

Бывает так осенью: за-сквозят берёзовые рощи, мороз закуёт в лёд ручьи, озёра. А потом установятся погожие деньки, полные ти-

хой задумчивости, рыжих пятен солнца на боровом мху, запаха палой листвы. Эти дни как нечаянная радость! Не уходил бы из лесу в эту пору... И бродишь по загложим просекам, берегами знакомых речек, и не устаёшь восхищаться красотой родного края, где каждый кустик отвечает тебе и дорог, как хозяину. А от деревни-то пахнет дымом — по овинам сушат зерно; то услышишь рокот машины с просёлка — возят сено к фермам, и кажется, что ощущаешь его аромат... Хорошо!

Я расположился позавтракать на замшелой валежине. Достал бутерброды, термос с чаем из рюкза-

зака... И слышу — осторожный шорох. Чьи-то шаги... Нет, кто-то не идёт, кто-то скачет сюда... Я взялся за ружьё.

Из-за кустов выбежал заяц. И сел на задние лапы. Забавно подрагивает раздвоенной губой, держа уши рожками. Белый-белый! Перелинял перед холодами, но снег выпал и весь стаял. Подвёл косо-го!

Близко до зайца. Глаза у него карие, с золотым от солнца донышком, хвост таким махром скручен...

Стрелять по сидячему — нет, так не по мне. Крикнул:

— Ах я тебя!

Заяц оторопело повернулся и задал стрекача. Он летел по просеке во всю прыть — задние лапки обгоняли передние! Жёлтые подошвы его лап так и мелькали.

Я опустил ружьё.

Жёлтые подошвы... Резв заяц, но, сколько ни колесит по лесу, никогда не потеет сам. Пот выступает на подошвах лап, оттого они жёлтые. Подика, от лисы удирал мой заяц-белячок — удрал; рысь гналась — не догнала; лунной ночью ковылял через поляну, и филин пытался скогтить — не дался, ноги выручили.

Не мог я поднять ружья на жёлтые подошвы. И зачем заяц мне их показал?.. Не покажи — был бы я с трофеем!



НАЛИМЬЯ ПРОВЕРКА

Ночью ударил заморозок, пал иней. Утро наступало при зелёном, прозрачном, как молодой лёд, небе, с румяной зарёй, и переход от ночи к дню был по-зимнему плавлен. Спозаранок завозились клесты, и роняемые ими шишки с елей гулко стучали по земле.

Поднялось солнце. На него можно было смотреть, не отводя взгляда.

Озеро засверкало. Мёрзлый осиновый лист беззвучно скользил по заводи. Он укатился далеко-далеко... Светло просвечивала водная толща. Поникие травы, водоросли, жгуты корневищ смутно рисовались на дне.

Тёмный, в бурых пятнах налим всплыл из ому-та. Так он делает в ледостав, а летом лишь перед сильной грозой да изредка лунными ночами. У налима были толстые оттопыренные губы, он лениво двигал хвостом и выглядел самодовольным и важным, будто невесть какое дело ему предстояло. Показывая сытое белое брюхо, налим потёрся о лёд в одном, в другом месте.

И, хотя иней таял на пригреве, хотя небо не грозило снегом, я сказал себе:

— Ну вот, скоро зима. Налим покинул омут и ходит с проверкой, крепок ли лёд!



СНЕЖНЫЕ ФОНТАНЫ

...В сумерки лес заполняли густые тени, и шумело, шумело в нём беспокойно, томительно: «А-а-а». Я оставлял бревенчатую хижину, поставленную любителями рыбалки у этого глухого таёжного озера, взбирался на крутой каменистый берег и подолгу сидел там, слушая лес и провожая стылые жёлтые зори. Потерянно мерцал внизу огонь свечи, оставленной на окне. И было вокруг безлюдье, чёрные леса...

И всё же я был не одинок. По утрам к становью бегала лисица. Её привлекали объедки у костра. Она таякала по-собачьи и, едва я успевал отворить дверь, пропадала в чаще. Быть может, её привадили к избушке рыболовы? Оставляли всякой там мелочи — ёршиков, плотиц, и лисица привыкла кормиться возле людей.

Я думал о них. Они были рабочие люди. Они отремонтировали заброшенную хижину, проконопатили её стены, заново настлали пол и потолок, сложили из камней очаг. Они ушли, оставив после себя грудку журналов «Вокруг света», мачту с фла-

гом, который теперь полинял от дождей, блесну с выцарапанной на ней надписью «Щучья мечта», карту озера, начерченную от руки. На карту были нанесены острова Зорового Клёва, мыс Неустрашимых, а каменная гряда, что шла от озера в глубь леса, была названа хребтом Дракона.

Нет для меня ничего более волнующего в лесу, как встретить следы человека! Пытливому глазу многое расскажут места привалов, кострищ... Увидишь на знакомой тропе скамью для отдыха, найдёшь переход через ручей, сделанный из срубленной осины, — и уже знаешь, кто прошёл до тебя, хозяин ли он в лесу или просто случайный прохожий...

Так я жил у пустынного озера. Дни проводил на охоте, по вечерам отдыхал у костра, топил очаг.

Я ждал снега. И дождался его.

Однажды утром я вышел из хижины. Снег... Он слепил глаза. Он пахнул свежо, бодряще. Празднично сиял преображённый ельник. Звóнок был морозный колкий воздух.

Снег!.. На каждой еловой ветке словно бы отдыхало по белому горностаю.

Перекликались свиристели, и удивительно шли их переливчатые трельки к заснеженному лесу, к светлему его покою.

Облепленные снегом берёзы, стройные, с поникшими ветвями, мне почему-то вдруг напомнили фонтаны. Но это были необыкновенные — белые снежные фонтаны!

«Открывателей озера бы сюда!» — подумалось мне.

В этот час они, наверно, в школе, за партами. И нет-нет да и вспомнится им дальнее озеро в лесной глухомани, где они вели себя под стать земле-

проходцам; зоровой клёв у песчаных островов; уха, поспевшая на костре; и лисица, бесстрашно навещавшая их походный бивак...

Они-то видели рыжую: ребят лисица ничуть не боялась, не то что меня с ружьём!



ГВОЗДИК

Лес в дрёме по-зимнему, спит, заколдованный стужей и снегами. И веет от него светлой печалью и покоем...

Пустынны берега лесных озёр, молчаливы, наглухо запечатаны тишиной хвойные трущобы.

Улетели лебеди далеко-далеко. И могучие орланы — великаны птичьего мира — покинули скалы и сухостойные сосны, откуда подкарауливали добычу. Ни крылья не прошелестят, ничей звонкий голос не нарушит зимней дрёмы...

Но остались с нами корольки!

Королёк — малютка, весь-то со стрекозу, да хвойные ели ему дом родной. Не променяет он глубины тайги, цепенеющей от стужи, на влажную духоту тропиков, не прельстится плеском тёплых морей. Лохматая сосна ему дороже пальмы.

Бесшумно перепархивает королёк по веткам, словно с этажа на этаж. Теревит висячий мох, отколупывает чешую с сучьев, и жёлтые пёрышки на темени его как золотая корона.

Неугомонен, деятелен корольк — неспроста он прозван в народе «гвоздиком». Подлинно гвоздик: для всякой щёлки, куда бы ни спрятались мошки и паучки на зиму. По миллиону вредителей леса уничтожает он в год. Такой маленький — и миллионер!

А сам весит пять-шесть граммов — столь же примерно, как пятикопеечная монетка...

Ветер сдувает королька с вершин елей, снегом засыпает пурга, пробирает насквозь мороз... Не сдаётся упрямый, несёт вахту в хвойном море лесов.



ПОД ЗЕЛЁНОЙ КРЫШЕЙ

Снег не падает. Он словно плывёт по воздуху. Обрели снежинки паруса. Поблёскивая в лиловой мгле ельника, пристают, как к пристани, к серым стволам, кривым сучьям, покружив, плавно опускаются на сугробы. Нескончаемо это движение, мелькание белых парусов в тёмной, заиндевелой зелени...

Покачиваются на ветру островерхие ели, и одна хвойная лапа с непривычной для неё нежностью баюкает птичье гнездо. Птенцы густо опушены, как в серых свитерах. Дремлют в зелёных потёмках лесного затишья.

Гнездо зимой — да жилое... Возможно ли? Ничего особенного, раз оно — клестов, известных наших зимогоров!

Шишек нынче обилие. Гнездо прочное — с двойными стенками, утеплено мхом, лишайниками, пухом; навес хвои над ним будто зелёная крыша. Так почему б и не обзавестись клесту семейством? На любой ёлке ему теперь готов и стол и дом. Житьё — хоть песни пой. И поёт клёст, добрую щедрую зиму нахваливает. Великолепен певун в ослепительно красном своём наряде. Клестиха собой тоже ничего себе: изжелта-зелёная, хвостик вилочкой. Правда, бывает, поиспачкаются зимогоры в смоле. Ну что ж, работа такая, раз день-деньской имеешь дело с шишками. Добывать семена из шишек клёст большой искусник. Оттого и клюв у него мощный. Концы клюва сложены крест-накрест. Щипцы, право, а не клюв! Таким и сокрушает шишки, потрошит кладовые семян. Надорвав плотную, запечатанную смолой чешую, за которой скрыто жирное семечко, клёст просовывает сложенный клюв в щель. Напрягшись, раскрывает клюв и, как рычагом, с хрустом и треском отдирает им чешуйку. Щёлк — и готово: семечко само лезет на язык! На кормёжке клёст чешую, сбитые шишки сеет сверху, словно из решета. Управляются клесты с шишками споро, бойко, орудуют на ёлке целым обществом, да с песнями, с весёлой перекличкой. Любо посмотреть!

Попадётся клесту под клюв мошка, спрятавшийся в хвое на зиму паучок или жук — не съест, с радостным кличем: «Нашёл! Нашёл!» — унесёт в гнездо. Птенцам в гостинец! Клёст и клестиху кормит, пока она сидит, греет потомство, не отлучаясь с гнезда ни на минутку, и песни ей поёт, развлекает.

Клестиха маленьким даёт... кашки. Из еловых семян, распаренных в собственном зобу!

...Звонит ельник переключкой клестов:

«Кле-кле-е... цок-цок!»

«Ци-ик... кле-кле!»

Вот клёст висит на шишке вниз головой. Вцепился клювом, перебирает крылышками в нетерпении, свесил лапки. Оторвать охота шишку, а силёнок мало. Наконец совладал. Да и повалился вместе с шишкой вниз. Тяжела шишка не в меру, одолела клеста! Оставалось: или падать с ней головой в сугроб, или бросить. Бросил! Залился негодующей трелью и вспорхнул за другой, полегче, — благо, ёлка шишками вся так и увешана.

Снег реже и реже плывёт в воздухе. Снежинки складывают паруса. Прояснило небо, задышало стужей. Посинели сугробы. Окутывала ночь примолкший ельник тенями, непроглядной теменью. Прорезалась первая звезда...

Вылетел на ночной промысел ушастый филин. Покружился винтом вокруг мохнатой огромной ели.

Давно попрятались в хвое клесты, никого не нащупали огромные глаза филина, ни звука не уловили чуткие уши. Диким, леденящим кровь криком разразился филин, защёлкал крючковатым клювом: «Уху-ху-у!» Ну-ка, у кого нервы не выдержат, кто встрепенётся, шорохом себя выдаст?! Нет, насторожённое молчание хранила ель. Пусты, видимо, её хвойные этажи: филин, не тратя времени, убрался восвояси.

Немного спустя послышалось по стволу поскрёбывание хищных коготков. Куница змеей юлила с сука на сук; вынюхивала, и голодным злым огоньком вспыхивали её круглые глазки в лучах звёзд.

Сорвался один клёст, нырнул в потёмки; за ним второй, третий...

Ускользает добыча! И что за диво: по-прежнему в нос зверька бьют только запахи леса. Что за птички, что лишь смолой да хвоей пахнут? Чутко вслушиваясь, готовая к прыжку на малейший шорох, куница обследовала дерево. Достигла гнезда, осталось лапу протянуть и... Несдобровать тогда ни клестихе, ни её беспомощным птенцам: попадут кунице на зубы!

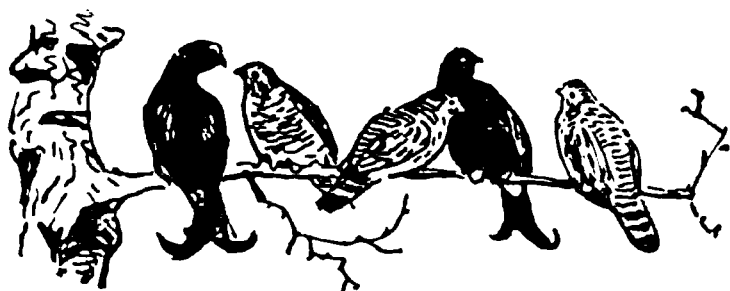
Улетай, нырни в гущу хвои — спасёшься! Но клестиха не тронулась с места, распласталась на гнезде, чтобы казаться менее заметной. Ей сейчас покинуть гнездо — птенцам погибнуть. Замёрзнут они в стужу.

Совсем рядом учащённое дыхание куницы, поскрёбывание её когтистых лапок. Не дрогнула клестиха. И, не заметив гнезда под хвойной крышей, в частом сплетении сучьев и хвои, зверёк прошмыгнул мимо. Затем он прыгнул на соседнюю ёлку. Затишье в безмолвии ночи лёгкий шорох когтей.

Миновала тревога. А ночь долга, и каждый час её может таить в себе опасность.

Но едва утром посветлело в лесу, захлопотали опять клесты как ни в чём не бывало! Бодрые, весёлые их голоса прогнали тишину из ельника.

Хвойная лапа, покачиваясь под дыханием проснувшегося ветерка, баюкала на широкой ладони птичье гнездо...



ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

В предутреннюю рань всё спит — кого где оставили заботы. И зверь, и птица — каждый устроился кто как мог.

Стылый туман изморозью оседает на ветвях, на коре деревьев. Подул ветер. словно лишь затем, чтобы убаюкивающе прошуметь в хвое: ш-ш-ш, ш-ш-ш...

По пословице: «Какова постель — таков и сон». Так вот: кто где спит?

Подо льдом на захламлённом лесном ручье — убежище норки. Само имя коричнево-бурого, в глянцевиной шёрстке зверька, кажется, подсказывает, где он находит ночлег. Норка и живёт в норке! Пушистая подводница-норка поплавать не прочь, лапы у неё с перепонками. Поэтому выход из норы прямо в воду. Зима — время голодное. Что норке на зуб попадёт, тем и сыта. Жук-плавунец — жука съест. Неповоротливый рак — и рака ей подай. Если голод приневолит, норка, за неимением чего другого, отведаёт и водорослей. Не до жиру, быть бы живу. И обокрасть рыбацьи сети и ловушки — норке занятие знакомое. Не избегает она



— А где же наши постели?

наведываться в курятники, если деревни близ водоёма. Остатки обеда она прячет про запас. Тепла шубка зверька, но от морозов норка страдает. В холода сутками не оставляет убежища, надеясь на свои кладовые.

Под землёй — обитель крота. Посмотреть на его длинные когти — ну страшнее крота зверя нет! Но лапки эти — с голыми мозолистыми ладошками, крепкими когтями — всего-навсего рабочий инструмент. Скажем, лопата. Крот роет норы, иногда длиной в километр и больше. В подземных ходах есть камеры для отдыха, есть спальни с постелью из сухих корешков и травинок. Как спит крот, наверное, никто не видал. А работает он... лёжа на боку. Да, роет одной передней лапой; устанет, переворачивается на другой бок — и опять роет, другой лапой.

Высоко на деревьях — гнёзда белки... Непримечательные с виду. Качается на ветвях куча хвороста, наваленного как попало, — вот и всё гнездо. Однако внутри его улажено: выстлано перьями птиц, мхом, лишайниками. Тепло в нём: и зимой температура, как в протапливаемой комнате, достигает двадцати градусов. Спит белка, свернувшись калачиком, с носом укрывшись пушистым хвостом. Иногда белка устраивает до трёх десятков гнёзд. Лесная резвунья акробатка — солидная домохозяйка!

По дуплам спят дятлы. Спят, как бы стоя, прицепившись лапками к стенке дупла и опираясь на жёсткий хвост. Клюв, точно штык, направлен к входу в дупло.

Непрощеных гостей дятел встречает доподлинно «в штыки»! Это за ним водится...

Как думаете: где всего теплее зимой?

Правильно, под снегом!

В снегу находят кров глухари, тетерева, рябчики. Им на открытом воздухе в стужу ночь провести — смерти подобно. Зимой что у них за корм: хвоя да почки, в снегу заледенелые. Скучный корм, много в нём воды. Не спрячась глухари или рябчики на ночь в снег — зобы в стужу промёрзнут: пропадать птицам.

Стаями летают зимой тетерева, порой по сотне птиц. Спят же поодиночке, в снеговых лунках-копанках.

И серые полевые куропатки держатся сейчас стаями. Но на ночлег устраиваются вместе. Выбьют в поле снег лапками, тесно-тесно сгрудятся. Жмутся одна к другой.

Мороз полевым куропаткам — лютый враг, поэтому и держат они против него оборону дружно, плечом к плечу.



РЯДОМ С НАМИ

Подо льдом бурлит, клокочет вода. Под её усталый ропот дремлет лесу. Упадёт с ели пухлая навесь — он будто вздохнёт, очнувшись от оцепенения, и снова погружается в сон.

Реку Обокшу пересекает железнодорожная магистраль Москва — Архангельск. Свист и шипение пара, гром колёс проносящихся мимо составов, а здесь, рядом, — синие тени у подножий смуглых берёз, на сугробах розовые и золотые блики солнца. По ольховым кустам, по рябиннику перепархивают снегири. Всё — как в глухой, нетронутой чаще...

Русло реки — тоже магистраль. Её проложили зайцы.

Чем плутать по непролазным прибрежным зарослям, зайцы нашли, что им удобнее бегать заснежённым руслом реки, и натоптали торную тропу.

Заячья тропа привела меня к озеру, в молодой осинник. С десяток тонкоствольных деревьев был повален в сугробы вершинами к озеру. И недавно: жёлтая щепка не успела заиндеветь. Кора веток обглодана, снег плотно утрамбован лапами кормившихся зайцев. А вокруг — ни следа человека. Что за диво: неужели косые сами занимались рубкой осин?

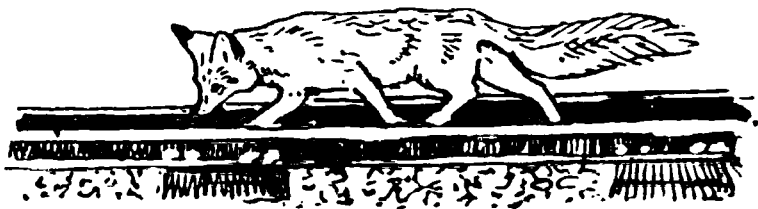
А вот ещё следы! Они необычны: зверь прошёл, собственный след заравнивая лопатой. Ходил и таскал лопату за собой. Ясно: в осиннике побывали бобры — у них хвосты как лопата. Бобры, покинув ночью свои норы, валили осины. Они обходились без пил и топоров. Зубы — вот их инструмент рабочий!.. Заботливые звери в оттепель пополняли запас кормов — зима только началась!

Я нашёл лаз, которым пользовались бобры. Полыню утром затянуло льдом. Из льда торчали осиновые прутья. И они объедены зайцами. Ну, не захребетники ли вы, плуты косые? С выгодой проторили к озеру широкую магистраль!

Поднявшись выше по реке, я увидел бобровую запруду.

Плотина была высокая и длиной метров пятьдесят; сложена из сучьев, брёвен, обмазана тиной. Тина смёрзлась с кусками дёрна, сучьями, затвердела, как бетон. Перегороженная запрудой-плотиной, Обокша разлилась озером. Это озеро создали бобры. Их не стесняло соседство железной дороги и станционного посёлка.

...Громыхали рядом, с лязгом и грохотом мчались тяжёлые составы, гудки подолгу не затихали, блуждая в дебрях леса, и высоко стлались дымь паровозов, как оранжевые облака.



ОБХОДЧИЦА

Зелёные крыши мелькнули над кустами. Вагоны подёргивались и гремели буферами. Чтобы сократить путь, я надумал выйти к полотну железной дороги не по лыжне, а напрямик — через болото. И раскаялся в своём предприятии. Лыжи не держали, проваливались; пришлось брести по колёно в рыхлом снегу.

Не поднимаясь на насыпь, я огляделся. На телеграфном столбе — ворона. Ветер ерошил её перья, задувал хвост. Э, да она сыром где-то раздобылась!

Ворона клевала ноздреватый тонкий ломоток, придерживая его чёрными лапками. Похрапывая от удовольствия, озираясь воровато, вертела носатой головой.

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да призадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду, Лиса близёхонько бежала...

— Послушай, ты лисы не видел? — смеясь, окликнул я путевого обходчика.

Позванивая молотком по рельсам, он шёл по шпалам.

Обходчик — пожилой, в ватной стёганке и валенках — буркнул что-то невразумительное.

Я вышел ему навстречу, угостил папирсой. Мы закурили, тем и завязали знакомство. Павел Алексеевич, узнал я, живёт одиноко, километрах в пяти отсюда, прослужил на дороге тридцать лет и собирается на пенсию.

Он покосился на моё ружьё и проговорил:

— А ты лису не трогай... Есть... есть тут и лиса! Учти: она вроде бы у нас в штате.

Под насыпью валялся тут и там выкинутый из вагона мусор — рыбы косточки, яичная скорлупа, обрывки бумаги.

— Понятно, — кивнул я, — откуда вороне сыр достался!

— А я что говорю! — оживился Павел Алексеевич. — Уж которую зиму лисица у дороги кормится. Ну и вороны, сороки тоже. А один раз охотники волка подстрелили, в желудке у него нашли обёртку из-под мороженого. Тихо! — Он вдруг положил мне руку на плечо; мы оба присели. — Вон... вон она!

От столба к столбу неторопливо трусила лисица. Хвост держала бережно, будто на весу. Ах, и хвост — волосок к волоску, пушинка к пушинке, с белым наконечником! И как пылает её алая шубка на белом сверкающем снегу!

— Вышла,—шептал Павел Алексеевич.—Поезд уж не пропустит. Тоже обходчица. А пусть её бежит. Всё с ней веселее. Уйду на пенсию — и обход передам, и лису. Она ведь со стажем, обходчица. Другой такой поищи.



ДОГАДЛИВЫЕ СИНИЦЫ

Явственней слышался рокот тракторов, стук движка электростанции, треск падающих деревьев. Над заснеженной грядой стояли дымы, застилая солнце.

Шум большой работы радостен; я невольно прибавил шаг.

Делянка... Железные руки кранов поднимают и опускают брёвна на автомобильные прицепы. Ползают тракторы. Стрекочат электропилы. И всё новые, новые деревья отделяются от высокой стены леса, падают на снег.

Не успел я подойти к работающим, как возле вагончика у дороги, чадившего длинной трубой,

раздались звенящие удары. Женщина в белом халате била кочергой по рельсу, подвешенному к стойке.

Столовая. И повар созывает лесорубов на обед.

Гул делянки постепенно стихал; к вагончику потянулись люди.

Вдруг я различил тонкий звук, сходный с тем, когда в комнате нечаянно заденешь люстру с подвесками. Он долетел из чащи, начинавшейся сразу же за столовой. Может, это ветер качнул заледенелую ветку берёзы?

Дзинь-дзинь... тэа-тэа! — повторился звон.

А, это синицы! Морозный мгlistый воздух до неузнаваемости изменял их знакомое треньканье.

Весёлой ватагой выпорхнули птички. Обгоняя друг друга, устремились в сторону лесосеки.

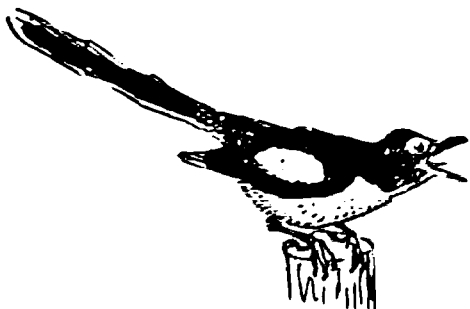
— Проворны! — повернулась ко мне повариха. — Ишь торопятся как, на обед раньше моих лесников поспевают. Подам сигнал — они тут как тут.

— О каком обеде вы говорите? — удивился я.

— Известно, что за обед у синичек! У лесорубов привыкли кормиться: спилит рабочий лесину, сучья обрубит — насорит, намусорит. В опилках, щепках и кроется синичья пожива. Чернеет что в опилках — знать, жучок или букашка какая. Сама я видела! А почему синицы в обед по делянке летают, тоже нехитро понять. Когда валят лес, шум стоит да гам. Ну, есть у синиц и отчаянные: возле пильщика так и вертятся, прямо под ногами. Зима... Голод не тётка.

Словоохотливая повариха подняла кочергу. И опять густые удары — бом-м, бом-м! — поплыли в чашу, по делянке...

Торопись на обед и ты, синичья команда!



СОРОЧЬЯ ПОЧТА

Два дня подряд ревел ветер, насыпая на улицах лесного посёлка высокие сумёты, и стояла зыбкая белая стена от земли до неба. Наконец ветер стих, но стена осталась — валил и валил снег, сырой, хлопьями. Снег падал отвесно, как бы нехотя.

Утром после снегопада из леса прилетели сороки. Ну и балаболки! Трещали без умолку и трясли длинными хвостами. Одна сорока села на провод, обронила с него густо налипший снег. И появился между столбами телефона и электропередач на сугробах странный чертёж: точка — где снег упал комком, тире — где снег упал с провода прутиком, долькой. Точка, точка, тире, точка... Как телеграмма!

Я прочитал её по-своему. И заспешил. Выпросил у знакомого шофёра камусные лыжи. На обычных увязнешь после пурги в первом же снегу. Камусные лыжи широкие, подбиты камусом — шкурой с ног северного оленя. Они удобны для леса: дают хорошее скольжение в любую погоду, к ним не нужны палки, от которых зябнут руки. И без палок заберёшься на гору, потому что камусные лыжи в снегу не буксуют.

Встал я на лыжи, подтянул на куртке ремень и покатил в лес.

Ну-ка, где тут новости?

Новостей же никаких. Снега прибавилось, так это разве новость!

Неужели я на сороку понадеялся и телеграмму неверно прочитал?

Я шёл просекой и любовался снежной нависью — кухтой. На соснах — пышные шапки; в белых пуховых чехлах ветви берёз и осин. Набилось в развилки сучьев снега — белеет, как гнёздышки из ваты. У елей-подростков из сугробов торчат лишь верхние мутовки. словно зелёные пальчики! Подняты они кверху, предупреждают: езжай мимо, не обломай нас...

Я спустился к реке.

На берегу были штабеля — склад древесины летней заготовки. Штабеля занесены снегом. Люди придут сюда только весной, чтобы сбросить брёвна в воду, и начнётся сплав леса.

У штабелей набродил лось.

Кое-где снег скрыт с бревён. Лось скоблил кору. В двух штабелях скатаны отдельно одни осины. Между штабелями — лёжки, снеговые постели лося.

Хорошо тут, затишек! Пласты снежных надувов кровлей свисают с брёвен. Бахрома инея, сосульки. Сосульки все целы. Светлые, прозрачные, будто выточенные из алмазов. Горят в сосульках солнечные лучи. Красота! Снежный дворец!

— Это на самом деле дворец! — Я рассмеялся.

Почувяв пургу и снегопады, лоси заранее уходят в потаённые уголки леса, выбирая места, где много осинника и ивовых зарослей. Неделями живут здесь, пережидают непогоду. Такие стойбища и носят название лосиных «дворов» или «дворцов».



Хутёр лось-рогач: в склад забрался!

Этот лось не нашёл ничего другого, как обосноваться в лесном складе. Чего ради бродить в поисках осинки по глубокому снегу, когда можно драть кору с уже заготовленных кряжей! И провёл дни пурги довольно сносно этот лось-рогач!

Камусные лыжи — охотничьи. Скользишь на них бесшумно, будто по комнате идёшь в меховых туфлях. И всё-таки я не уберёгся. Чуть слышный шорох уловил чуткий лось и убрался от штабелей до моего прихода.

...Нет, не обманула меня сорока. Можно тому верить, что она на хвосте носит. Есть в лесу новости после пурги и снегопада!



НАША ЕЛЬ

— Почему не готов к уроку?

— В делянке был...

Ручка учительницы занесена над классным журналом. Сейчас она выведет двойку. Но замирает и опускается перо на край чернильницы-непроливайки. Учительница дует на озябшие пальцы — в классе холодно, мы все в пальто.

— Домашние задания всё равно надо выполнять. Завтра спрошу и за сегодня, и за предыдущие

уроки... — Учительница переводит взгляд на окно в морозных разводах, за которым метёт январская пурга. — И на Волге, наверное, тоже пурга и стужа. Как-то там наши?.. Продолжим опрос, ребята. Кто ещё был в лесу?

Трудное и грозное было тогда время. Уроки зимними вечерами приходилось учить при лучине: и керосиновые коптилки стали немислимой роскошью. Горючее было нужно фронту.

И лес был нужен для победы.

По воскресеньям все от мала до велика в нашей вологодской глуши отправлялись на лесозаготовки. Благо, делянки близко. Рукой подать — за каких-нибудь два-три километра от деревни. Шли семьями: матери с целыми выводками детишек, бабки и деды, ребята-школьники. Шли с топорами и пилами. Шли в метель и мороз, и снег визжал, скрипел под латаными валенками.

Каждому находилось дело: кто валил лес с корня, кто раскряжёвывал его, обрубал и жёг на кострах сучья. Честное слово, мы, ребяташки, не хуже десятника — молоденькой девушки в ватных брюках и фуфайке — знали, на что годен наш лес. Знали, какая древесина идёт на ружейную болванку, чтобы из весёлой кудрявой берёзы получились ложа для грозных автоматов и винтовок; какая сосна нужна для самолётов — пусть они до Берлина долетят! — какая пойдёт на судострой, шпальник. И все подсказывали десятнику, а она сердилась:

— Без вас обойдусь!

Мы не получали ни копейки, потому что заработанные деньги передавали в фонд обороны. Они шли на танки, самолёты, боевые корабли. Зато на самых лучших брёвнах, украдкой от авторитетного

десятника, появлялись надписи: «Бейте фашистов!» И ещё мы получали, как настоящие рабочие, пайки хлеба. Хлеба без примеси, без мякины даже... Хлеб был вкусен, его можно было есть с рассыпчатой картошкой, испечённой в золе костра, с луком, с брюквой, паренной дома в чугуне, накрытом паклей. А что за чудо — ломток хлеба с солью, поджаренный на огне! Никогда потом я не ел хлеба ароматнее и сытнее, чем тот, который был заработан в лесу.

А с елью так вышло.

Мы спилили её пилой-двуручкой. Ель была всем елям ель: стройная, прямая как свеча. И сучья были у неё высоко-высоко от корня, что для качества древесины очень важно.

— Пиловочник! Самый боевой материал! — кивнул на ель Виталька.

Вальчик скинул рукавицу и высморкался.

— Ври больше! Это судострой. Гляди, деревина какая — ни сучка ни задоринки. Хоть линкор из неё плотничай, не то что баржу!

— Вовсе не судострой, не спорьте, — сказала Маня. — Шпальник — вот что. Для фронтовой железной дороги.

Хвойные мёрзлые сучья, потревоженные ударом о землю, глухо роптали. Хвойные сучья... Они — уши чуткого дерева. Они внимают малейшему дуновению ветра, и ель успокаивающе или тревожно загудит. Ель первая услышит гул, когда накатывается буря: качнёт вершиной, колыхнёт щетинистыми лапами, и на её шум откликнется лиственная молодь, печально и тягостно застонет бор, будто угадывая, какой урон причинит лихая непогода... Ели вняты все шорохи лесные. Слушает, слушает ель и что-то сама говорит. Стоит при-

жаться к её шершавому, залитому каплями смолы могучему и статному стволу, и поймёшь её тягучую речь...

К нам подошла девушка-десятник. Рукавом фуфайки она отёрла снег со среза, простучала ель молотком. Зачем-то пересчитала годовые кольца на пне.

— Резонансный кряж,— вынесла она приговор.

— Чего-о? — протянули мы хором.

Мы были согласны на что угодно, только не на это. Резонансный кряж идёт... на музыку! Ведь скрипки, виолончели, кларнеты, рояли делают из дерева. А самое главное в музыкальных инструментах — резонанс, чистый и громкий звук. Подача звука зависит от деки, установленной за струнами. На деку идёт не всякое дерево, только особо мелкослойное. Вроде нашей ёлки. Так нам объяснила девушка-десятник.

— Дека... — сплюнул Виталька.

— Струны... — подхватил Вальчик.

— Подача! — закричала Маня.— Балалайка какая-то!

Нечего говорить, нам было обидно, что наша ёлка не попадёт на войну. И это было написано на наших лицах.

— Эх, глупые вы, глупые!—сказала десятник.— Не век же война... Всё равно будет наша победа! Жизнь тогда пойдёт с музыкой. Глупые вы ребяташки!

...Сколько лет прошло с тех пор! И когда я сижу в концертном зале или слушаю музыку по радио, отчётливо встают передо мной дымные костры елового лапника, ребята, сгрудившиеся у мохнатой ели, поваленной в сугробы, и узкая лесная дорога, по которой для сплава брёвна вывозились к реке

Городишне... И вижу я, как натужно перебирает копытами седой от изморози Карько, тащит воз, и шагает рядом наш отчаянный коновод Виталька, в ватнике, в растерзанной, выдавшей виды шапке. А на срезе бревна чернильным карандашом: «Бейте фашистов!» С этой надписью, как мы считали, нашу ёлку, наперекор десятнику, употребят для боевых фронтовых надобностей...

А когда музыка захватит меня и скрипки и рояль зазвучат с властной, покоряющей силой, я думаю: «Не наша ли ель поёт?»



ПЕВУЧИЙ МОСТИК

Мороз дерёт сырые осины, треск валом катится по заснеженному суземью, гулом отдаваясь где-то далеко-далеко.

Неприютно, глухо в лесных дебрях. Снег тусклый, серый, будто припорошён пеплом. К зелёному студёному небу вздымаются чёрные островерхие вершины. Недвижимы ели, как часовые на карауле. В снегу и пухлом инее — как в шубах. И каждая хвоинка сторожит тягучую зимнюю тишь, каждый белый от стужи прутик...

Проскрипит крылом чёрный ворон. Рухнет ком снега с еловой лапы, рассыплется в морозную пыль.

И долго будет махать еловая лапа, пока не заоченеет. Шуршат на ветру клочья сухой берёсты, будто бабочка на стекле. Бьётся, лепечет что-то...

Зима, холода.

Но спадут морозы, и в мягкие пасмурные деньки, может, тебе посчастливится, и услышишь, как пересвистываются рябчики — лесные хохлатые петушки. После долгой стужи начинают они переключку, наивно приняв отступление морозов за близость вешней поры. **И** трогает, будит хорошие думы нетерпение скромных, робких птиц, истосковавшихся по теплу.

Мелодичная песенка рябчика среди глубоких сугробов — певучий мостик из зимы прямо в весну.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ал. Михайлов. В поисках чудес</i>	5
Веснушки	7
Рыжий-полосатый	—
Лесной теремок	10
Штукатур	13
Мазаевы затеи	15
Под зонтиком	25
Жор (<i>Рассказ юного рыболова</i>)	26
Родная земля	32
В краю непуганых птиц	34
Гамак на сосне	42
Мать	46
Дикая уточка	49
Ополовник	54
Сон в летнюю ночь	56
Орлан	59
Первый шаг	63
Щучий профессор	64
«Околпачили!»	70
На просеке	74
Заячья картошка	77
Дозор в полях	80
Обычное задание	82
Золушка	87
Чаруса	93

Филин на тоне	100
Форелькин «волейбол»	102
Лакомка	104
Проводница	106
Синичьи кладовки	113
Жёлтые подошвы	114
Налимья проверка	116
Снежные фонтаны	117
Гвоздик	119
Под зелёной крышей	120
Плечом к плечу	124
Рядом с нами	127
Обходчица	129
Догадливые синицы	131
Сорочья почта	133
Наша ель	136
Певучий мостик	140

Для младшего школьного возраста

Полужнов Иван Дмитриевич
ПЕВУЧИЙ МОСТИК

Ответственный редактор Л. И. Гульбинская.

Художественный редактор А. В. Падина.

Технический редактор Т. М. Токарева.

Корректоры Л. И. Гусева и Л. М. Короткина.

Сдано в набор 13/XII 1965 г. Подписано к печати 6/IV 1966 г. Формат 60×84 1/16. Печ. л. 9. Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд. л. 5,91. Тираж 100 000 экз. ТП 1966 № 240. Цена 32 коп. на бум. № 1.

Издательство „Детская литература“.

Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика „Детская книга“ № 1 Росглавополиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Суэцкий вал, 49. Зак. № 3414.

Цена 32 коп.